

От редакции. В мае этого года исполняется 90 лет со дня рождения патриарха отечественной философии академика РАН Теодора Ильича Ойзермана.

Теодор Ильич – признанный авторитет в области истории западноевропейской философии, крупнейший в нашей стране специалист (и один из крупнейших в мире) по философии Маркса и истории марксизма, исследователь методологических проблем истории философии. Круг его интересов многообразен: помимо истории философии, это также и проблемы теории познания, и социальная философия, и философия культуры. Его работы сочетают фундаментальность, академическую обстоятельность и новизну подхода, актуальность в лучшем смысле этого слова. Несколько поколений наших философов (включая самых известных из них) были его прямыми учениками, многие из нас учились и продолжают учиться на его работах. Теодор Ильич продолжает активно работать, выпускает книгу за книгой, публикует множество статей (в том числе в нашем журнале) и удивляет всех творческим духом, умением критически пересмотреть сложившиеся представления, включая и собственные идеи.

Теодор Ильич в течение многих лет является членом редколлегии «Вопросов философии», его вклад в успешную работу журнала весьма существен.

Редакция и редакционная коллегия нашего журнала поздравляют Теодора Ильича с юбилеем и желают ему доброго здоровья, творческого долголетия, счастья.

Из бесед с академиком Ойзерманом

Л. Н. МИТРОХИН

Мое знакомство с Т.И. Ойзерманом состоялось в конце 40-х годов, когда я слушал его блистательный курс по истории марксистской философии. На факультете тогда работали многие выдающиеся специалисты, завораживавшие ораторским искусством и бескрайней профессорской эрудицией. Назову А.С. Ахманова, К.В. Базилевича, Д.Д. Иваненко, С.Б. Кана, А.Н. Леонтьева, Б.А. Тумаркина, Б.Д. Дацюка, С.А. Яновскую – всех не перечислить. И все же мы благоговели прежде всего перед

лектором Т.И. Ойзерманом. Все упомянутые преподаватели вели курсы, так сказать, непрофильные, и молодой доцент был единственным, кто выделялся из сонма унылых догматиков, доверительно пересказывавших казенную мудрость, которую, как теперь выяснилось, мы избрали своей любимой профессией! Показательный факт: мы организовали перепечатку записей лекций Ойзермана и обращались к ним как к надежному путеводителю в собственное исследовательское будущее. В общем, уже тогда Ойзерман представлялся мне человеком особым, по своим знаниям и поведению непохожим на других.

Вскоре наши пути разошлись. Это было поистине «свинцовое время»: кто-то тихо исчезал, кого-то с гиканьем тащили на дыбу, другие исступленно каялись. Со всех сторон нас обступали обличительные кампании. Да и у меня не все складывалось безмятежно. По причине недоброкачественной биографии я был вынужден заниматься относительно «беспартийной» логикой. Защитил диссертацию по прагматизму, работал в «Литературной газете», потом в Институте философии, где стал заведующим сектором, заместителем директора. Здесь я вновь встретился с Т.И. Ойзерманом, в 1968 г. перешедшим работать в Институт. А когда он стал заведовать сектором истории философии, то наши деловые отношения стали регулярными. Были многочисленные совместные командировки (в Берлин, Вену, Зальцбург, не говоря уже о республиках СССР), длительные дружеские беседы, постоянное сотрудничество в редколлегии «Вопросов философии». Несмотря на разницу лет и во многом несхожие жизненные пути, у нас сложились теплые дружеские отношения, располагавшие к веселому застолью и доверительным беседам.

Так получилось, что мне довольно рано пришлось быть непосредственным свидетелем, а порой и невольным участником тех зловещих – открытых и подковерных – столкновений и дразг, которые именовались борьбой за партийность в философии. Я видел, как травили честных специалистов, как преуспевали невежды и карьеристы, как призывами к истине и патриотизму прикрывалось бесчестие и цинизм. И это были не просто иллюстрации к истории советской философии, а сама история.

Реальная история – это деятельность многих неповторимых личностей, и именно они создали то, что называется советской философией. На первый взгляд, это прежде всего «диамат» и «истмат» в «краткой» сталинской редакции, то есть «охранительная» идеологическая доктрина. Можно привести длинный перечень деятелей, не просто прилепившихся к этой бесплодной псевдотеоретической конструкции, но ревностно и рьяно защищавших ее от порывов свободомыслия. А вместе с тем нашими современниками были замечательные мыслители – А.Ф. Лосев, М.М. Бахтин, Я.Э. Голосовкер, С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, В.И. Вернадский, А.А. Ухтомский, В.Ф. Асмус, Э.В. Ильенков, М.К. Петров, М.К. Мамардашвили, В.А. Смирнов, которые – каждый по-своему – прорывали мертвящую оболочку официального догматизма, утверждали положения, знаменовавшие шаг вперед в развитии философской науки. Разумеется, они не смогли до конца реализовать свой творческий потенциал, но то, что им удалось сделать, составило неотъемлемый компонент, источник энергии творческих поисков, без которых само существование философской мысли было бы невозможным. И память о них – священна.

Близкое знакомство с Теодором Ильичем я воспринял как подарок судьбы. Он обладает блестящей памятью и редким даром рассказчика. И часто слушая его воспоминания о временах минувших, я с горечью думал: неужели все эти точные характеристики, портреты, неожиданные, порой парадоксальные комментарии могут быть безвозвратно утрачены? Не забудем и другого. В течение полувека Т.И. Ойзерман был в самой гуще философских событий и отнюдь не оставался их бесстрастным хроникером. Все это позволило ему сыграть громадную, пожалуй, уникальную роль в философской жизни страны. А не она ли прежде всего волнует нас в юбилейные даты?

И вот знаменательный момент – академику Т.И. Ойзерману исполняется 90 лет! Что мне сказать многоуважаемому старшему коллеге? Комментировать его работы, искать какие-то особо фанфарные выражения? Едва ли это интересно читателям, да и, пожалуй, самому академику. Поэтому я постараюсь взглянуть на философское прошлое, опираясь, в первую очередь, на его же собственные воспоминания¹. Тогда, возможно, и портрет юбиляра предстанет в его реальном масштабе, во всем личностном своеобразии.

Когда Т.И. Ойзерман вступил на философское поприще, отечественная мысль уже была плотно втиснута в узкие ножны сталинизма, окруженного, по выражению Черчилля, плотным кольцом вольных и невольных «телохранителей лжи». Поэтому для начала полезно взглянуть на духовную обстановку, которую молодой философ застал в Москве. Ее принципиальные контуры были определены тогда недавней конфронтацией «механистов» и «меньшевиствующих идеалистов».

«Меньшевиствующие идеалисты» против «механистов»

Едва ли стоит специально останавливаться на том, как проблема «интеллигенция и власть» решалась в первые послеоктябрьские годы. Пришлось бы вспоминать о судьбе М. Горького, Н. Гумилева, И. Бунина, В. Короленко, о репрессивной политике большевиков в отношении Церкви и, конечно, о «философском пароходе». Достаточно сказать, что была налажена постоянная охота на людей свободомыслящих, не вписывающихся в рамки партийно-государственного тоталитаризма. Шло массовое воспроизводство новой интеллигенции, так называемых «красных профессоров». «Отличие красного профессора от белого и синего, – цинично разъяснял Н. Бухарин, – следующее: мы его обрабатываем, превращаем в определенную машину, которая заправлена определенным материалом и будет функционировать в определенном... духе»².

Ясна и главная – политическая – подоплека. К началу 30-х годов Сталин уже подчинил себе партийную номенклатуру и вел яростную борьбу за создание духовного ГУЛАГа. В сфере философии она вылилась в ликвидацию «ревизионистов марксизма» – так называемых механистов и последователей Деборина. Об этих событиях немало писали³, но мне хотелось знать о них по возможности из первых рук, и я попросил Т.И. Ойзермана рассказать об этом периоде.

Т.О. История эта одновременно и запутанная, даже фарсовая, если взглянуть на нее с точки зрения содержательности философских проблем, вокруг которых ломались копыя, и кристально прозрачная по своей политической подоплеке. Метафизические соображения здесь были ни при чем, движущей пружиной была борьба Сталина за единоличную власть и стремление везде расставить рабски преданных ему опричников.

О том, как все это происходило, мне подробно рассказывал М.Б. Митин. Вместе с П.Ф. Юдиным он учился в Институте Красной профессуры у А.М. Деборина, который в ту пору считался лидером отечественной философии. Причем П.Ф. Юдин был секретарем партийного бюро Института – фигурой по тем временам серьезной и ответственной. Вскоре, однако, они пришли к выводу, что маститый профессор слиш-

¹ У меня имеются магнитофонные записи бесед с Т.И. Ойзерманом (общая длительность примерно 10 часов), сделанные в санатории «Узкое» в 1997, 2001 и 2003 годах. Они и составили основу диалоговых разделов данного очерка.

² Бухарин Н. Дискуссия о постановке культурной проблемы //Спутник коммуниста. 1923. № 19. С. 19.

³ О предыстории, деталях и сути этой борьбы см. статью А.П. Огурцова «Подавление философии» // Философия не кончается... Из истории отечественной философии. XX век. В 2-х кн. Кн. I. 20-50-е гг. М. 1998.

ком академично понимает свои обязанности. По какой-то, не иначе как старорежимной интеллигентской привычке, он, например, настаивал, чтобы студенты детально проштудировали, скажем, «Логику» Гегеля, причем так, чтобы знать содержание отдельных параграфов и формулировок. По скромности Марк Борисович не разяснял, что это вообще было выше их умственных способностей, но охотно вспоминал, как их возмущало такое требование: вместо того чтобы обсуждать злободневные философские проблемы, связанные с практикой социалистического строительства, они должны были тратить время на изучение каких-то абстрактных систем, явственно отдающих схоластикой.

Тогда они, сначала между собой, а потом и на партийных собраниях стали критиковать Деборина, причем главную роль играл Юдин как партийный вожак. Павел Федорович, однако, не был, как бы это сказать помягче, человеком философски подготовленным. Впрочем, в этом и Митин от него мало чем отличался. Но он был побойчее, я бы сказал, понахальнее и впоследствии выдвинулся на первые роли. В основу своей критики они положили обвинение в формализме.

Откуда они взяли этот термин, судить не берусь. Но дело, полагаю, в том, что в это время сам Деборин вел довольно успешно борьбу против формализма так называемых механистов (А.К. Тимирязев, Л.И. Аксельрод, И.И. Степанов, В.Н. Сарабьянов и др.), борьбу, которая, по-видимому, была поддержана сверху. Одним словом, складывалась своеобразная ситуация. Первоначально группа Деборина развернула шумную борьбу против «механистов» и постепенно брала верх. Затем, казалось бы, победивших деборинцев атаковали их же студенты, которым тогда еще не было тридцати лет. Но они не повторяли аргументов «механистов». То ли в силу профессиональной малограмотности, то ли уловив растущее недоверие к старым специалистам, они все настойчивее стремились перевести дискуссию в иную, им более понятную и по тем временам выигрышную политическую плоскость, где философская эрудиция, знание классиков, апелляция к текстам существенной роли уже не играли.

По-видимому, многоопытный А.М. Деборин почувствовал надвигающуюся опасность и уязвимость своих позиций в складывающейся обстановке. Во всяком случае, он признавал за собой отдельные упущения и ошибки, был готов пойти на некоторые компромиссы, в частности, внести уточнения в учебную программу, изменить требования к учащимся и т.д. Как я говорил, сначала дальше критики на партийных собраниях дело не шло. Но вскоре эта конфронтация вышла за рамки рядового академического спора и перешла на привычный для коммунистов язык: о принципе партийности, о связи с актуальными государственными проблемами, с нуждами народа в конечном счете. Теперь никакие полумеры уже не устраивали бойких и необразованных борцов за истинный марксизм. Не философские тексты и профессорская ученость, а лишь высшие инстанции, решили они, могли их рассудить. И они пошли на решительный шаг: написали возмущенное письмо самому Сталину о том, что в Институте Красной профессуры вместо разработки актуальных политических проблем и проведения принципа партийности занимаются изучением старых философов, взгляды которых давно преодолены марксизмом.

Письмо было воспринято как исключительно своевременный сигнал, и в декабре 1930 г. произошло чрезвычайное событие: Сталин принял партийную группу ИКП в составе П.Ф. Юдина, М.Б. Митина, В.Н. Ральцевича и некоторых партийных активистов. Вождь одобрил письмо, но одновременно разяснил, что это не просто уклон в формализм и безжизненные абстракции. Да, все это, конечно, означает отрыв философии от актуальных задач партийного строительства, но такая позиция имеет более глубокие корни и нуждается в принципиальной *политической* оценке. Следует понять, что Деборин вовсе не случайно проповедует эти вещи; он ученик Плеханова, сам был членом меньшевистской партии. Так что это не просто формализм, а не что иное, как *меньшевистствующий идеализм*. Именно эту жесткую и (если вспомнить те времена), в сущности, погромную формулировку предложил Сталин.

Встреча сразу же изменила философскую ситуацию в стране. Окрыленные сталинской поддержкой, молодые икаписты объявили решительный бой Деборину и его единомышленникам. А это была довольно влиятельная группа, куда входил» известные представители старой философской гвардии: Н.А. Карев, И.К. Луппол, Гр. Баммель и др. Завязалась настоящая схватка, вскоре вынесенная на страницы общесоюзной партийной печати.

Л.М. Насколько помню, было даже принято соответствующее решение ЦК, а позже инициаторы этой борьбы увенчаны академическими званиями.

Т.О. Да, в январе 1931 г. вышло постановление ЦК ВКП(б) «О журнале «Под знаменем марксизма». Оно как бы подытоживало развернувшуюся дискуссию и сопровождалось существенными кадровыми перестановками. Митин был назначен главным редактором журнала «Под знаменем марксизма». Был значительно обновлен и состав редколлегии; Деборина, правда, в нем оставили, но всякое влияние на позиции журнала он утратил. Всеми делами стала заправлять группа Митина, Юдина и Ральцевича. Они подбирали и расставляли кадры, организовывали систему пропаганды философии марксизма, бдительно надзирали за соблюдением принципа партийности.

Заметно сместился и акцент в их, с позволения сказать, творческой деятельности. До этого они обвиняли Деборина в том, что он игнорирует роль Ленина в философии. Теперь же они сосредоточили свои силы на обосновании выдающихся заслуг Сталина в разработке философии. Это утверждение стало лейтмотивом учебника по диалектическому и историческому материализму под редакцией М.Б. Митина и И.П. Разумовского (1932). Короче говоря, складывающийся культ Сталина в политике был дополнен его культом как великого философа.

Одновременно продолжали добывать представителей старшего философского поколения. В 1933 г. как студент ИФЛИ я присутствовал на заседании Института философии (тогда он назывался Комакадемией), на котором под председательством Митина торжественно отмечалось 25-летие «Материализма и эмпириокритицизма». Это был первый год моей учебы, и я с любопытством разглядывал цвет философской мысли, до этого знакомый лишь по печати. Царила нервная, напряженная обстановка. В своем вступительном докладе Митин резко и грубо отзывался о А.М. Деборине, Л.И. Аксельрод, И.К. Лупполе, Георге Лукаче (который в это время был в Москве), вызывая одобрительную реакцию зала. Фактически их обвиняли в том, что, будучи подголосками буржуазных философов, они игнорируют принцип партийности в философии, отрывают философию от задач социалистического строительства.

Больше всего меня поразило то, что все эти почтенные люди единодушно признавали свои ошибки, с готовностью каялись, хотя предъявленные им обвинения, даже на мой слух, казались голословными и недостаточно убедительными. В заключительном слове Митин грозно предупредил, что одного признания ошибок недостаточно – их надо исправлять делами, и его горячо поддерживали другие ораторы, которые мало чем мне запомнились. Что ж, Митин оказался пророком: прошло несколько лет, и многих «меньшевиствующих идеалистов» арестовали, обвинив в том, что они разрабатывают философскую основу контрреволюционного троцкизма. Надо ли напоминать, что доклад Митина вскоре был напечатан в качестве едва ли не директивного документа. Кстати сказать, ни Митин, ни Юдин, никто из этих людей, которые вышли на поверхность и стали у руководства, в ИФЛИ ни разу не появлялись и преподавателями никогда не работали.

Л.М. Из Вашего рассказа как-то выпал В.Ф. Асмус, у которого мне довелось учиться. В те годы он уже был заметной фигурой, автором ряда крупных работ по философии и литературоведению. Вспоминаю его книги «Диалектика Канта» (1929), «Очерки по истории диалектики Нового времени» (1930) и особенно «Маркс и буржуазный историзм» (1933). Он как-то участвовал во всех этих философских перипетиях?

Т.О. Валентин Фердинандович занимался историей философии серьезно, стараясь держаться подальше от придворной суеты. Вы удивитесь, но за ним закрепилась репутация человека крайне консервативного, если не правого. Даже Деборин критиковал Асмуса как представителя буржуазной интеллигенции. Считалось, что дискуссия идет среди марксистов, каковым Асмус себя не объявлял. И когда стали нападать на деборинцев, Асмуса даже не тронули, потому что он не был деборинцем, он был хуже.

Но после выхода обстоятельной книги В.Ф. Асмуса «Маркс и буржуазный историзм» бдительный Митин спешно отозвался резкой, как и следовало ожидать, бестолковой рецензией: якобы автор книги отбросил основной вопрос философии, подменив его вопросом об отношении свободы и необходимости. На самом деле Асмуса прежде всего интересовала другая проблема, для его монографии основная. А именно: суть исторического процесса, где крайне существенно именно отношение между субъективной деятельностью людей и объективной необходимостью. Впрочем, у нас, студентов, каких-то иллюзий относительно профессиональной компетентности Митина не возникало, а поэтому потребности просить его разъяснить нам свою позицию мы никогда не ощущали.

Что же касается академического звания, то М.Б. Митин стал академиком (ни кандидатской, ни докторской диссертации он, естественно, не защищал) в 1939 г., уже будучи директором Института марксизма-ленинизма. На этот счет рассказывают такую историю. Во время одной встречи Сталин предложил это звание Митину и Юдину, но последний как-то замаялся, сказав, что он не совсем уверен, что достоин столь высокой чести. Сталин сказал: «Ну что ж, тогда будьте членом-корреспондентом». Митина, конечно, подобное сомнение не осенило. К стати сказать, к этому времени в Академии еще находился Деборин, избранный еще в 1928 г. По каким-то причинам Сталин его не тронул, в то время как большинство обществоведов, в том числе и в ИФЛИ, пересажали не только философов, но и политэкономов, историков, литературоведов. Многие из них так и ушли в неизвестность.

«Писатель не философ – попросту ремесленник»

Л.М. Итак, в Москве бурно формировалась новая пролетарская философия, утрясались ее акценты и приоритеты, натягивалась колючая проволока, обозначающая дозволенные соображения, нахрапистые и плутоватые выдвигенцы бесцеремонно расселялись по номенклатурным кабинетам. Насколько я понимаю, для многих партийных деятелей путь к вершинам власти через философию тогда казался наиболее бесхлопотным и коротким: «у нас философом становится любой». А как в это время чувствовал себя школьник Ойзерман в далекой Днепропетровской (тогда Екатеринославской) области? Грезился ли ему философский Олимп, который предстояло покорить, или будущее представлялось в более легкомысленном виде?

Т.О. Что касается моего прихода в философию, то он представляется мне необходимым, хотя дело не обошлось и без случайностей. Правда, еще школьником я прочитал «Теорию исторического материализма» Бухарина, «Логику» Гегеля, в особенности раздел об отношении мысли к объективности. Но не помню, чтобы метафизические премудрости меня особенно заинтересовали. Другое дело классики литературы, которыми я действительно увлекался: Гомер, Шекспир. Но вскоре жизнь моя развернулась совсем не в гуманитарном направлении.

После окончания семилетки (1930) я поступил не в техникум, как большинство моих товарищей, а стал учеником-котельщиком на местном паровозоремонтном заводе. Почему? Думаю, что сказалось господствовавшее тогда представление о профессии рабочего как деле почетном. Так, по карточкам рабочему полагалось 800 граммов хлеба в день, а, например, моей матери, учительнице, – лишь 500. Но главное все же было не в этом. Уже тогда мною стала овладевать граничащая с одержимостью уверенность, что мое единственное призвание – это стать писателем.

Уже в школьные годы я более или менее регулярно печатал стихи и заметки в днепропетровской комсомольской газете «Будущая смена» на украинском языке. Ничего из этого сочинительства у меня, правда, не сохранилось. Мысль о том, что рабочая профессия и есть та школа жизни, которую я должен непременно пройти, чтобы стать настоящим писателем, крепко сидела у меня в голове. И когда мы переехали в г. Кольчугино Ивановской (ныне Владимирской) области, я поступил учеником-электриком на местный металлообрабатывающий завод. Зарабатывал я по тем временам неплохо (около 100 рублей в месяц), своей профессией был доволен и мысль о подготовке и последующем поступлении в вуз у меня не возникала. Все свободное время я отдавал «изучению жизни» и неистовому сочинительству.

В Кольчугине я написал свой первый большой рассказ. Он назывался «Котельщики» и был посвящен моему ученичеству на паровозоремонтном заводе. Этот рассказ прямо в рукописном виде я послал в рапповский журнал «Пролетарский авангард», который редактировал писатель Бахметьев. К моему удивлению, его вскоре напечатали (1932, № 3). Недавно я перечитал его и убедился, что для автора, которому не было и 18 лет, он не так уж плох. На полученный гонорар в 600 рублей я отправился в Крым и весь его исходил, ночуя где придется. Под впечатлением увиденного я быстро написал несколько очерков. Все они оказались неудачными, ни один из них не был опубликован.

Но я не унывал, и в 1932 г. написал рассказ «Дружелюбие». В нем, действительно, речь шла о дружеских отношениях людей, как сейчас сказали бы, в экстремальной ситуации – во время страшного ливня, затопившего город. Все плышет, одни радуются, другие спасаются, страдают и т.д. На сей раз я решился обратиться в московский журнал «Красная Новь», который в то время редактировал В.В. Ермилов (его вскоре сменил А.А. Фадеев). Журнал считался весьма престижным, в нем печатались известные писатели. Фадееву рассказ понравился, и в 1935 г. он был опубликован (№ 10). Еще раньше я послал в «Красную Новь» рассказ «У синего моря». Название весьма условное. Речь в нем шла о заводском быте, о ваннах с раствором медного купороса синего цвета, в которых протравливали медные листы. Говорилось о необыкновенной любви между парнем и девушкой, которых я изображаю почти как Гектора и Андромаху. Рассказ был напечатан в 1936 г. в той же «Красной Нови» (№ 4). Потом был какой-то конкурс, и мне дали вторую премию. Первую получил некто Пастушный, который остался неизвестным, а третью получил Первенцев, позже ставший известным писателем. Одним словом, я постепенно ощущал себя едва ли не профессиональным знатоком человеческих душ.

Но вскоре моим литературным увлечениям был нанесен серьезный удар. Воодушевленный удачным началом, я собрал свои рассказы в сборник, который назвал «На Пекше». Пекша – река в Кольчугине, в которой мы купались и ловили рыбу. Этот сборник я передал в крупнейшее издательство ГИХЛ, директором которого был И.К. Луппол. Поначалу все шло хорошо. Но в сборнике были ранее не публиковавшиеся рассказы, в которых в довольно мрачных тонах описывались повседневные заводские будни: воровство, хищения, травмы, житейские неурядицы, хотя никаким социальным критиком я себя не мнил. Как и полагается, верстка попала в Главлит и оттуда пришло категорическое решение: печатать нельзя. Я тяжело переживал это событие. Тем более, что постепенно мною все больше овладевало сомнение, сможет ли из меня получиться более или менее серьезный писатель.

Решение бросить литературные опыты давалось мне трудно. Но сказались жизненные обстоятельства. Моя мать была вынуждена уехать из Кольчугина и поступить на работу в деревенскую школу. Я остался один; меня даже предупредили, что я должен освободить прежнюю квартиру и перебраться в общежитие. Я подумал, что в Кольчугине мне больше делать нечего, и уехал в Москву, где поступил монтером на строительный комбинат. Условия работы ужасные: в громадной комнате человек 70, грязь, вши, пьянки, драки. Я понял, что мое писательское будущее оборачивается крахом. Что-то надо было срочно предпринимать.

И тут я случайно узнаю о существовании ИФЛИ. Кстати или некстати вспомнил ранее прочитанную фразу Лафарга: «Писатель не философ – попросту ремесленник». Вот, подумал я, где причина моих прежних неудач на литературном поприще. А выход казался единственным: получить философское образование, чтобы не просто цепляться за отдельные факты, а мудро, на высоком художественном уровне их обобщать.

Альма-матер: ИФЛИ

Т.О. Подал документы на философский факультет. Выдержал конкурсные экзамены, впрочем, не очень строгие. К тому же я поступал как рабочий, а была установка относиться к нам повнимательнее. Но в этом была и неприятная сторона: хотя я сдал экзамены на пятерки (была лишь одна четверка), в стипендии мне отказали. Дело в том, что в основном поступали люди в годах (например, знакомый Вам И.Я. Щипанов), нередко семейные, с опытом партийной работы. Я же был едва ли не самый молодой, необстрелянный. А на что жить? Даже возникла мысль – а не вернуться ли к пролетариям?

Помогла, как это у меня нередко бывало, случайность. Кто-то сказал, что в общежитии, где нас поселили, требуется электрик. Основная работа приходилась на темное время суток, когда включали свет. Я сидел в дежурке, звонили, я шел, ремонтировал; обычные дела: то пробки перегорят, то плитка испортится. Свободного времени было достаточно. Платили 150 рублей – выше стипендии. Через некоторое время узнаю, что в МСПО (Московский союз потребительских обществ) преподают особую дисциплину, которая называется «Хозполитустановки». Поинтересовался, что это такое? А это, говорят, изложение основных постановлений по организации хозяйства, прежде всего потребительской кооперации, соответствующие высказывания Ленина и т.п. Пошел туда, представился и меня зачислили преподавателем. Мне платили 4 рубля за час, что позволило отказаться от должности электромонтера. Кстати сказать, я все более убеждался, что из меня получается неплохой лектор, хотя эти самые «Хозполитустановки» были сплошной мутью. Но такое было время: каждый был готов говорить все, что было уже написано в каких-то документах.

После окончания первого семестра наступило время экзаменов. Сдавал успешно. Правда, не обошлось без казуса. Отвечал профессору Преображенскому, прекрасному специалисту по античности. После 5 минут он сказал: «Материал Вы знаете, поставлю вам четверку». «Нет, – говорю, – это мне не подходит». – «Как это не подходит?» – «А Вы посмотрите, у меня все пятерки. Я учил Ваш предмет и хочу получать стипендию». Он гонял меня минут 40 и поставил отлично. Это был честный человек – не зря же его раз пять сажали и каждый раз выпускали. Так я получил стипендию и какое-то время продолжал читать лекции. Учтите, что тогда была карточная система, да и все другое можно было купить только по талонам, так что нужды я не испытывал и был в высшей мере доволен жизнью.

Л.М. А что представлял собой ИФЛИ, кто в нем преподавал, насколько квалифицированно?

Т.О. Что касается исторического и диалектического материализма, то преподавание велось на примитивном уровне: пересказ отдельных цитат классиков, директивных постановлений, статей новоиспеченных философских авторитетов. Смутно вспоминаются некоторые имена: профессора Дмитриев и Богачев, доцент Занд – но его вскоре посадили.

Лучше обстояло дело с историей философии. Очень хорошо читал лекции Г.Ф. Александров, хотя глубоким исследователем он не был. Но на кафедре он увлекался сам и увлекал нас. Он также вел семинары, и таким образом у нас состоялось знакомство, которое возобновилось после войны. Запомнился профессор М.А. Дынник, читавший античную философию, был профессор Сапожников, он тоже читал античную философию и средние века. Вскоре его посадили как бывшего меньшеви-

ка. Несколько блестящих лекций прочитал Б.Э. Быховский. Некоторое время преподавал В.Ф. Асмус, но его вскоре уволили. Запомнился Я.Э. Стэн. Это был рослый красивый мужчина, умевший говорить на языке философии, но ему доверяли вести только семинары по французскому Просвещению и материализму.

Л.М. Говорили, что Сталин приглашал его для того, чтобы он разъяснял ему диалектику Гегеля.

Т.О. Да, разговоры такие были, как и то, что по заданию Сталина он участвовал в написании философского раздела «Краткого курса истории ВКП(б)». Я в этом сильно сомневаюсь. Эти разговоры появились лишь после смерти Сталина. Между тем уже до войны утвердилось мнение, что книга в целом написана Ем. Ярославским и окончательно отредактирована самим вождем. По-видимому, это верно, потому что многие формулировки отличаются характерным для Сталина лаконизмом и пренебрежением к аргументации. Так, говорится насчет разгрома в 1937 г. врагов народа, но не объясняется: какие враги, откуда враги. Думаю, что и в философском разделе Сталину принадлежало большинство формулировок, если не весь текст. Здесь доминирует уже знакомый лаконизм, бездоказательность и вместе с тем категоричность, игнорирование ряда принятых в марксизме тезисов, скажем, закона отрицания отрицания. Понятие закона заменено понятием «черта диалектики», утверждается, что специфика идеализма не только в признании первичности духовного начала, но и в отрицание познаваемости мира. Следовательно, автор смешивает идеализм и агностицизм. Едва ли кто-либо, кроме Сталина, решился бы на такие вольности. Попутно отмечу, что ни Митин, ни Юдин никакого отношения к «Краткому курсу» не имели. По-видимому, Сталин достаточно трезво оценивал их интеллектуальные потенции.

Особо следует сказать о филологическом факультете, на котором работали блестящие преподаватели, хотя они не были профессорами: М.А. Лифшиц, Л.Е. Пинский и В.Р. Гриб, молодой человек, умерший, кажется, в возрасте 32 лет и оставивший лишь маленькую книжечку. Это были удивительно талантливые люди, и мы часто ходили к ним на лекции. Их главная заслуга была в том, что они повели решительную борьбу против господствовавшего тогда вульгарного социологизма, возглавляемого влиятельнейшим академиком В.М. Фриче, то есть представления о том, что писатель – это непременно представитель, выразитель идеологии того или иного класса, скажем, Пушкин – русского дворянства и аристократии. Они же доказывали, что большой писатель – это выразитель народных чаяний, духа времени. В этом смысле это были новаторы, каких на философском факультете не было, и во многом стимулировали творческое мышление своих слушателей, если те были к этому склонны и способны.

Л.М. Кроме загубленных жизней и группы неисправимых догматиков ИФЛИ, кажется, немного дал философской мысли. Кстати сказать, через много лет мне непосредственно пришлось столкнуться с трагической судьбой упомянутого Вами Яна Стэна, и тогда на декорациях черным цветом очертился злобещий облик одного из героев Вашего повествования – М.Б. Митина⁴.

В конце 1966 г., когда я был избран секретарем партбюро Института философии, ко мне обратилась седая изможденная женщина, жена Я.Э. Стэна, с просьбой возбудить персональное дело М.Б. Митина, состоящего на партийном учете в нашей организации. Суть дела заключалась в следующем. По заказу редакции БСЭ Ян Стэн написал одну из ключевых статей «Философия», которая была принята и набрана. Однако накануне выхода тома он был арестован и вскоре расстрелян. Статья же вышла, но с двумя поправками. Во-первых, в качестве авторов фигурировали М.Б. Митин и А.В. Щеглов. Во-вторых, в нее был включен абзац, гневно клеймя-

⁴ Об этих событиях я подробно рассказал в статье «Докладная записка» – 74», опубликованной в упомянутом сборнике «Философия не кончается...», кн. II, 1960-1980-е гг. М., 1998.

ший группу философов, недавно разоблаченных как «враги народа», в числе которых был упомянут и Я.Э. Стэн. Вдова также рассказала, что она сама долгие годы провела в ссылке и все ее попытки добиться политической реабилитации мужа ни к чему не привели.

Просто отмахнуться от такого заявления я никак не мог. В то же время я ясно понимал, что речь идет о многолетнем члене ЦК КПСС и депутате Верховного Совета СССР, о главном бриллианте в короне, носящей название «Сталинская философия», а быстрое подмерзание хрущевской слякоти ощущалось повсеместно. В конце концов я решил попробовать компромиссный вариант: предложить академику что-то предпринять, чтобы восстановить доброе имя оклеветанного им видного философа. Скажем, перепечатать в журнале некоторые его статьи с комментариями, опубликовать воспоминания, попытаться отыскать в архивах неопубликованные рукописи и т.д., тем более, как мне казалось, я смогу убедить жену Яна Стэна согласиться с таким решением, позволившим бы ей предпринять дальнейшие шаги.

С этими намерениями я и затеял разговор с М.Б. Митиным. Я был готов ко всему: к намекам на опасения разделить судьбу Стэна или, на худой конец, загубить свою блистательную карьеру, к ссылкам Митина на собственную неосведомленность и даже на безграничную веру в Вождя. Но все же надеялся на подобие раскаяния или сожаления (напомню, шел 1967 год), во всяком случае, хотя бы на притворную готовность «помочь несчастной женщине. Ничего подобного! Академик М.Б. Митин воспринял мои предложения как кощунственную попытку поставить под сомнение его преданность великому делу. Он не мог допустить мысли, что существует такая шкала ценностей, по которой можно в чем-то упрекнуть его, верного идеологического опричника, готового по первому жесту высококого начальства оболгать и растерзать кого угодно. Мне даже передали его зловещее предостережение: «Митрохин – коммунист молодой, неопытный. И то, как он поведет мое дело, будет проверкой его политической зрелости».

Так что персональное дело получило ход; началась удивительная детективная история, потребовавшая, кроме всего прочего, энергичных поисков вещественных доказательств. Меня постоянно вызывали в ЦК, МГК, Фрунзенский РК, интересовались нюансами, советовали, предостерегали; я то прикидывался наивным правдоискателем, то с чувством цитировал антикультовые декларации, пытаюсь сыграть на их внутреннем лицемерии. Надо ли уточнять, что при этом никакой героической роли я не играл. Я постоянно ощущал поддержку многих и разных людей – даже в ЦК КПСС. С самого начала это была коллективная акция. Прошло шумное собрание в «Вопросах философии», вынесшее академику (тогда он был главным редактором журнала) выговор. Он был подтвержден и на многочасовом заседании институтского партбюро. Вскоре посетителям Института в глаза бросалось большое объявление, на котором значилось нечто немислимое: «Персональное дело М.Б. Митина».

Итог был предсказуем заранее. Академик периодически брал бюллетени, собрание несколько раз переносилось, объявление ветшало. Менялась обстановка – и на самом верху, и в нашем философском сообществе. Я ушел с поста секретаря. Сработали серьезные скрытые механизмы, и персональное дело постепенно сошло на нет. Все же, надеюсь, оно сыграло свою роль в закате карьеры главного персонажа на философском капитанском мостике. Очевидно и другое: на его примере официальные идеологи лишней раз увидели, какую опасность для них таит либерализация духовной обстановки.

Впрочем, мы увлеклись черным цветом. Давайте забудем обо всех этих темных душах, доносчиках и циниках – пусть пожирает их «геенна огненная»! – и обратимся к чему-то гарантированно светлому, наверняка бодрящему. Хотя бы к тому далекому времени, когда преуспевающий студент Ойзерман окончательно определил свое призвание, часто и охотно печатался, но теперь уже на метафизические сюжеты, стал единственным в стране Сталинским стипендиатом по философии и его будущее

ни у кого сомнения не вызывало: кандидат, а затем и доктор философских наук, уважаемый профессор и прочая и прочая.

Т.О. Да, наверное, так и должно было быть, но не со мной. Сегодня, когда я оглядываюсь на свою жизнь, то постоянно наталкиваюсь на одну малопонятную вещь. Как только у меня что-то налаживалось и я позволял себе расслабиться, поддаться необременительному благодущию, как сразу что-то случалось, неожиданно вторгалась какая-то сила, начисто перечеркивающая ближайшие планы. Иногда я даже думаю: может быть, тему кандидатской диссертации о соотношении свободы и необходимости я и выбрал для того, чтобы наконец-то разобраться в собственных житейских загадках.

Поскольку в нашей группе были почти исключительно москвичи и я воспринимался как провинциал, то в первые два года у меня близких товарищей не было. Я относился к этому спокойно, читал, писал, никому не мешал. Но я не мог знать, что судьба подготовила для меня испытание, одновременно смахивающее и на фатальную трагедию, и на забавную оперетку.

В 1937 г. по институту пополз зловещий слух: в нашей группе посадили четырех студентов. С тремя из них у меня не было никаких отношений, а вот с В.В. Бродовым, которого Вы, вероятно, помните, у меня сложились если не дружеские, то приятельские отношения. И однажды я, как выяснилось, недостаточно тихо высказал недоумение: «Не понимаю, за что Бродова-то могли арестовать». Быстро донесли, куда надо. Срочно было созвано комсомольское собрание. Криминал был очевиден и неопровержим: «Вы, комсомолец, будущий идеологический работник, сомневаетесь в деятельности органов госбезопасности, заявляете, что они могут принимать ошибочные решения и т.д.». Постановление, разумеется, было единогласным: исключить из комсомола. Соответствующие документы пошли в райком ВЛКСМ на утверждение. Проходит неделя, вторая. Меня как бы не замечают, все ждут, о своих переживаниях говорить не хочется. Вдруг через месяц появляется Бродов и даже как-то игриво сообщает: «А меня освободили». Мне же приходит вызов на бюро райкома. После обличительного сообщения о моем антипартийном поступке мрачный вопрос: «Вы не раскаиваетесь в своем поступке?». «Раскаиваюсь, – чистосердечно отвечаю я, – но вот только прошу учесть, что Бродова уже освободили». «Как освободили?» – дружный громовой смех. И почти ласково: «Тогда у нас к Вам претензий нет, Вы свободны».

Позже Бродов рассказал, в чем было дело. До ИФЛИ он учился в техникуме и увлекся изучением английского языка. Причем у него в привычку вошли дурацкие, но, как он считал, вполне невинные шалости. Он одевался как бы «по-заграничному» и любил в людном месте громко обратиться к незнакомому человеку по-английски, выдавая себя за иностранца. Такие шутки сразу же привлекли внимание органов, и его арестовали. Но слава Богу, дело попало к разумному следователю, который увидел надуманность обвинения и распорядился возвратить его в ИФЛИ. (В 1951 г., в разгар кампании против так называемых космополитов, некий Каирян безапелляционно объявил меня их идеологом, добавив, что ошибки мои не случайны и еще в 1937 г. я был за них исключен из комсомола.)

Жизнь снова вошла в спокойное русло, я приободрился, вгрызаюсь в замысловатые фолианты. Но не тут-то было. На четвертом курсе ИФЛИ меня неожиданно вызывают в Наркомат образования и сообщают, что хотят направить преподавателем в Саратовский педагогический институт. Я говорю: «Но я же еще студент». Чиновник замаялся: «Знаете, там остался только один преподаватель по философии, некто Гапон». «А где же другие?». «Как где, – отвечает, – всех других посадили. Вы отличник, о Вас хорошо отзываются, уверен, что справитесь. А для сдачи экзаменов будете на время сессий приезжать в Москву». Что оставалось делать? Поехал, начал читать лекции по диамату и истмату. Читал, конечно, с увлечением. Причем приходилось выстаивать на кафедре по 6-8 часов в день. А дальше по плану: приехал в Москву, сдал выпускные экзамены.

С директором Саратовского института Мухановым я раньше договорился, что после окончания ИФЛИ окончательно вернусь в Саратов. Тем более что квартиры у меня в Москве не было, жил я в общежитии, а моя невеста Генриетта была из Омска и тоже жила в общежитии – в Останкино. И я помню, как ночью шагал оттуда через весь город к себе на Усачевку. Она тоже была готова перевестись в Саратов. И после окончания ИФЛИ я сообщил декану (им тогда был А.П. Гагарин), что хочу работать в Саратове. Он стал меня отговаривать, предлагая поступить в аспирантуру. Это означало, что я буду получать стипендию в 400 рублей. Но я сказал, что как-нибудь и без аспирантуры напишу диссертацию.

Однако вскоре после возвращения в Саратов я неожиданно получаю письмо от А.П. Гагарина (возлюбил он меня, надо сказать!), в котором он опять убеждает поступить в аспирантуру. Я показал письмо Муханову, и он мне говорит: «Ты у нас в Саратове будешь первым человеком. А кто ты в Москве? Один из многих, так сказать, в ряде. Может быть, в конце его». Я ответил примерно так: и одним из многих быть неплохо, если есть у кого поучиться, а здесь учиться не у кого. В конце концов, он согласился. И решили мы с Геней, что надо возвращаться, и поселились на Усачевке в комнате 205.

Что же касается аспирантуры, то все получилось как нельзя лучше. В 1940 г. Сталин назначил сто стипендий для аспирантов, из них одну – по философии. По тем временам они были колоссальные – 1000 рублей, тогда как зарплата профессора составляла 900 рублей. К этому времени я уже опубликовал 13 статей в разных журналах. По совету А.П. Гагарина я подал заявку на эту стипендию и вскоре мне ее присудили. Я сразу стал богатым человеком, что позволило мне больше не думать о деньгах, а всерьез заняться своей диссертацией.

Л.М. Насколько я помню, она звучала так: «Марксистско-ленинское учение о превращении необходимости в свободу». Согласитесь, проявить самостоятельность в этой теме было не столь уж просто. Что же в ней привлекло Вас?

Т.О. Признаюсь, что сегодня я внятно объяснить это не могу. Видимо, сработала какая-то интуиция. Это теперь я убежден и способен это обосновать, что понятие «свободы» – центральное в философии, особенно если оно касается человека и общества. А тогда я шел к этой теме ощупью. На саму проблему меня натолкнул Плеханов, у которого со ссылкой на Шеллинга говорится, что свобода – не только познанная необходимость, но также ее предпосылка. Это одна из основных идей Шеллинга: сущность необходимости – в свободе. Поскольку понятие свободы применимо только к человеческому обществу, только к человеку, то в общественной человеческой жизни необходимость творится лишь людьми. Ну что такое необходимость: развитие производительных сил, производственных отношений, то есть овеществление самой человеческой деятельности. Следовательно, отношение между необходимостью и свободой коррелятивное: свобода превращается в необходимость, необходимость превращается в свободу. Вот я и подумал, что смогу объяснить все эти многообразные связи с марксистской точки зрения. Сделать это мне, конечно, не удалось.

В марксизме общепринята точка зрения, что свобода есть познанная необходимость. Прямо отвергать ее я не мог, потому что она однозначно сформулирована Энгельсом со ссылкой на Гегеля, ссылкой, кстати сказать, неправомочной, потому что у Гегеля как раз и доказывается, что необходимость в себе и есть свобода. Так что мне оставалось пытаться как-то согласовать с марксистским пониманием опыт многовековых исследований этой темы. Намерение было сомнительным, да и знаний у меня явно не хватало. Диссертацию я написал в двух томах объемом более 1200 страниц. Первый том был историко-философский, второй – так сказать, диаматовский и истматовский. Они сохранились, и недавно я их просмотрел. Конечно, работа насквозь проникнута догматизмом, а историко-философское изложение сплошь и рядом компилятивно. Единственное, что меня порадовало, это то, что уже тогда я умел складно писать. Но опыт не пропал зря. Теперь я рассматриваю марксистскую трактовку как достаточно примитивную, поскольку тезис о том, что свобода – по-

знанная необходимость исключает свободу выбора. Поэтому так важно посмотреть, как эта тема обсуждалась выдающимися философами. В последние годы я написал серию статей по проблеме свободы в учении Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля. Так что получается целая монография.

16 мая 1941 г. я торжественно защитил диссертацию и продолжал преподавать на философском факультете. Поскольку я был Сталинским стипендиатом, то и оппоненты у меня были особые: П.Ф. Юдин, М.Т. Иовчук – все большие начальники. Юдин по простоте душевной даже предложил присудить мне докторскую степень, а Соцэргизу – издать диссертацию. Когда я вернулся из армии, то я увидел, что в таком виде она для печати не годится, и ограничился публикацией нескольких статей на эту тему.

Потом началась война. Вместе с аспирантом Мамедовым, который тоже защитился, мы пошли к секретарю Сокольнического райкома партии Леонтьевой, которая до этого была доцентом ИФЛИ, и заявили, что хотим пойти на фронт добровольцами. Она ответила приветливо: «Ребята, вы только что защитились, нам нужны молодые ученые, а война кончится через три месяца». Если бы она кончилась через три месяца, то только нашим поражением. Победили мы потому, что она длилась более четырех лет и, конечно, потому, что у нас другого выбора не было.

Война

Т.И. Ойзерман был мобилизован 8 июля 1941 г. Окончил офицерские курсы, служил в противовоздушных войсках в Саратове, в политотделе дивизии на Воронежском фронте, потом на 3, 2, и 1 Украинских фронтах, в 6 армии, участвовал в боях на Днестре, Висле, Одере и закончил войну в Бреслау. Позже был направлен в Центральную группу войск в Вене, где в июне 1946 г. в звании майора был демобилизован по состоянию здоровья. Награжден шестью орденами и десятью медалями. Четыре года войны – особая тема. Надеюсь, что сам Т.И. Ойзерман еще расскажет о ней. А сейчас нам важнее посмотреть, что в это время творилось на фронте философском.

Советская философия возникла и формировалась как одна из форм партийно-государственной идеологии. Поэтому переломные этапы ее истории, когда появлялись новые лозунги, акценты, размежевывались триумфаторы и мученики, определялись директивными постановлениями ЦК. Такой вехой в начале 30-х годов стало постановление «О журнале «Под знаменем марксизма», фактически санкционированное массовые репрессии против всякого свободомыслия, в том числе и философского. Сходная обстановка сложилась в начале 40-х годов, когда критике подверглось толкование немецкой классической философии, прежде всего, Гегеля в только что вышедшем 3-м томе «Истории философии». Правда, происходило это во многом закулисно и сегодня на сей счет существуют различные версии. Т.И. Ойзермана тогда в Москве не было, но основных персонажей этой истории он хорошо знал. Послушаем его рассказ.

Т.О. Как только началась война, возник вопрос об отношении к классической немецкой философии. Случилось, например, так, что именно 22 июня 1941 г. я должен был читать заочникам лекцию о Фихте. Мое смятение понятно, если вспомнить хотя бы его пронизанную шовинизмом речь о немецкой нации. С грехом пополам я изложил его наукоучение и вернулся домой как оплеванный. Вскоре меня мобилизовали, и когда я вернулся в Москву, то вскоре убедился, что философская обстановка основательно изменилась. Решающую роль в этом сыграл З.Я. Белецкий, впоследствии ставший моим злым гением, основательно отравлявшим жизнь.

По своему образованию Зиновий Яковлевич, как и его жена, был медик. Позже он учился в Институте Красной профессуры и как его выпускник получил звание профессора без защиты диссертации. По рассказам коллег, одно время он был секретарем партийного бюро института, вел себя спокойно, особых инициатив не про-

являл. Однако в складывающейся обстановке сориентировался довольно быстро. В силу то ли идейных соображений, то ли проснувшихся амбиций 27 января 1944 г. он написал пространное письмо Сталину о том, что в обстановке кровопролитной войны с Германией у нас преподают немецкую классическую философию, считая ее источником марксизма, выпустили 3-й том «Истории философии», где восхваляют эту самую философию, в особенности Гегеля, между тем как фашистские идеологи рассматривают его в качестве одного из источников нацизма⁵. Очевидно, резкий тон письма подействовал на Сталина, и он поручил Г.Ф. Александрову основательно в нем разобраться. Александров пытался убедить его, что Белецкий – человек малограмотный, в немецкой философии разбирается плохо, а она, как писал Ленин, является теоретическим источником марксизма, что, собственно, и утверждается в 3-м томе. По словам Александрова, Сталин ответил: «Я вполне допускаю, что Белецкий – человек небольших знаний, но чутье у него есть».

Кончилось тем, что раздраженный Сталин вызвал работников Агитпропа ЦК, редколлегия 3-го тома, а также Белецкого и прямо задал вопрос: как вы оцениваете философию Гегеля, какие социальные силы она выражала? Наступило тягостное молчание. «Вы молчите, – заметил вождь. – Значит, определенное мнение у вас отсутствует. А между тем философия Гегеля – это аристократическая реакция на французскую революцию и французский материализм».

Беседа не была опубликована, но эта формула с неременной ссылкой на Сталина стала директивной. Она была заведомо упрощенной, и нам приходилось основательно выкручиваться, чтобы как-то согласовать ее с фактами истории, с высказываниями Маркса и Ленина в конце концов. Поскольку аристократическая реакция на французскую революцию действительно существовала (Жозеф де Местр, Эдмунд Бёрк), то я, например, сначала рассказывал о ней, а потом делал такой хитрый ход: если взять взгляды Гегеля на войну, на монархию, то они, действительно, представляют собой аристократическую реакцию. Что же касается диалектики Гегеля, то о ней этого сказать нельзя, на что неоднократно указывали классики марксизма. Это была несколько рискованная интерпретация, но она, к счастью, серьезных возражений обычно не вызывала, тем более что в печати я решился изложить ее лишь после смерти Сталина.

Л.М. Но о происхождении марксизма Вы же с В.И. Светловым написали целую брошюру.

Т.О. Да, и там высказывалась именно эта весьма двойственная позиция. Однако верстка брошюры, как мне рассказывали, долго муржила в ЦК, поскольку в ней все-таки усматривали некий подкоп под сакральную формулу. Думаю, что напрасно: брошюра была явно компромиссной и вполне могла быть истолкована в духе сталинской оценки. Задним числом была отменена и Сталинская премия по 3-му тому. Поскольку она была присуждена за все три тома, то авторам первых двух ее сохранили. На этот счет в 1944 г. было принято Постановление ЦК ВКП(б), которое было опубликовано (после смерти Сталина его быстро отменили).

Это постановления означало триумф Белецкого, начало его восхождения. Оно делало его как бы главным цензором советской философии, монополизировавшим право непосредственно обращаться к Сталину в уверенности, что получит поддержку. Так он поступил относительно книги Александрова «История западноевропейской философии», а также в связи с моей докторской диссертацией, имея, правда, в виду не столько ее защиту, сколько якобы существующую и возглавляемую Александровым группу, по его определению, «новых меньшевистствующих идеалистов», наследников троцкизма. Но это будет позже.

⁵ Письмо было найдено в архивах и опубликовано А.Д. Косичевым в книге «Философия, время, люди. Воспоминания и размышления декана». М, 2003. С. 55-79.

Л.М. А пока после демобилизации из армии (1946) Вам пришлось устраиваться на работу в Москве.

Т.О. Это оказалось не так просто, как я думал. Прежде всего я, естественно, обратился к декану философского факультета Д.А. Кутасову. Я объяснил, что до войны преподавал на факультете и по закону имею полное право восстановиться в этой должности. «В сложившейся обстановке, – решительно ответил он, – я сделать этого не могу». Я, конечно, поинтересовался, в чем эта обстановка состоит. Без тени смущения, как бы по-отечески, он разъяснил, что у него и так слишком много евреев. «Конечно, – добавил он, – Вы можете восстановиться через суд. Но поймите, с каким отношением Вы тогда столкнетесь».

Мы еще немного поговорили, и я понял, что его не переубедишь. Позвонил Ивану Хренову, который, будучи секретарем парткома ИФЛИ, рекомендовал меня в партию, а тогда заведовал сектором в ЦК ВКП(б), и рассказал ему эту историю. Ладно, говорит, пойдем к Галкину, ректору МГУ. Пошли. Он попросил меня подождать в приемной, а сам вошел в кабинет. Но вскоре появился, явно смущенный: «Увы, уговорить его мне не удалось». «Как же, – удивился я, – вы же приятели, оба с исторического факультета». – «Понимаешь, все дело в этом пятом пункте. На философском факультете евреев, действительно, перебор. Будем думать, куда тебе еще стоит обратиться».

Я посоветовался еще с некоторыми работниками ЦК, знакомым по ИФЛИ, и стал ждать. Наконец, звонок: «Обратись в Государственный экономический институт им. Г.В. Плеханова. Там объявлен конкурс на должность доцента. Можешь прямо идти к ректору И.К. Верещагину. Ему звонили, и тебя возьмут». Ректор принял меня по-дружески, и вскоре я начал читать лекции. Студенты ко мне относились хорошо, меня выбрали заместителем секретаря парткома института, а с ректором мы стали добрыми друзьями и собутыльниками. Жизнь опять стала прекрасной. Но, оказывается, главные события были впереди.

Примерно через год, в конце второго семестра 1947 г. мне сообщают: Вас вызывает заместитель министра высшего образования В.И. Светлов. С ним я не был знаком и никакого представления о причине такого внимания не имел. Он принял меня подчеркнуто неофициально: «У меня трудное положение. Я люблю философию, заведу кафедру истории западноевропейской философии в МГУ, но из-за нехватки времени заниматься ею всерьез не могу. Поэтому ищу надежного, грамотного помощника. Многие рекомендовали Вас. Я был бы Вам признателен, если бы Вы согласились стать доцентом кафедры, а фактически моим заместителем, хотя такой должности официально не существует». После всех моих мытарств и унижений его слова пролились елеем на мою душу.

Но одно обстоятельство все же смущало: «Год с лишним тому назад я, как бывший фронтовик, уже пытался возвратиться на факультет, однако декан Кутасов мне отказал. С такой же просьбой мой друг, авторитетный работник ЦК, обращался к ректору МГУ. Результат тот же». «Для меня прошлое не имеет значения, – возразил Светлов. – Заместителю министра они отказать не решатся». «Это, конечно, так, – ответил я. – Но для меня, к сожалению, оно имеет решающее значение, поскольку я сразу же окажусь во враждебной обстановке. Этого можно избежать, если бы Вы убедили Галкина направить мне официальное приглашение работать на факультете. С ним декан непременно посчитается». Светлов очень внимательно посмотрел на меня: «Да, друзья были правы: Вы человек бывалый. Думаю, что я смогу это сделать». Скоро я получил такое письмо от Галкина и снова пришел на факультет. Нужно ли говорить, что на этот раз сияющий Кутасов принял меня с распростертыми объятиями и тут же доверительно сообщил, что положение на факультете тяжелое: Белецкий мутит воду, сталкивает преподавателей друг с другом, одним словом, сразу же попытался перетянуть меня на свою сторону в какой-то, мне пока неведомой борьбе. Мне оставалось лишь с готовностью заверить его, что буду внимательно все учитывать, а декана по возможности поддерживать.

О своем решении не без смущения я рассказал И.К. Верещагину. Тот попытался меня переубедить: «Вы же видите, как Вам здесь хорошо, мы все Вас любим. Зачем Вам туда, где Вас не хотят». Я ему отвечаю: «Иван Кузьмич, для меня очень важна среда, где есть люди, у которых я могу чему-то научиться, с которыми я могу дискутировать. Здесь же специалистов по философии нет». В общем, я его уговорил и стал присматриваться к кафедре.

Тогда она состояла из профессоров О.В. Трахтенберга, М.А. Дынника и М.П. Баскина (все на полставки), доц. Авраамовой – на полной и аспирантов Мельвиля, Шарапова, Вейсмана. Я решил оставить на кафедре Мельвиля, а насчет Вейсмана засомневался: знакомый пятый пункт. Попробовал заручиться поддержкой в министерстве. Заведующий отделом университетов Жигач был недоволен: «Вы ставите вопрос о двух людях с иностранными фамилиями: Мельвиль и Вейсман». Отвечаю: «Мельвиль – русский». – «Ну тогда, пожалуй, его оставьте». Обратился к В.Ф. Асмусу: не желает ли он перейти к нам. Он ответил, что с удовольствием стал бы читать курс истории философии.

Л.М. Я хорошо помню этот момент. Асмуса мы очень почитали, и я с сожалением спросил, почему он ушел с кафедры логики. «Надоело вести разъяснительную работу», – ответил он.

Т.О. Но не все было так просто. Пугливый Кутасов настоял, чтобы обсудить этот переход на партийном бюро. Здесь произошла забавная сцена. Заведующий кафедрой логики В.И. Черкесов заявил: «Вы берете человека беспартийного, которого, кстати, партком не утвердил правофланговым на демонстрации». К счастью, я нашелся: «Партком, – сказал я, – принял гуманное и совершенно правильное решение. Асмус – пожилой профессор. А правофланговым должен быть человек помоложе и физически покрепче. Не думаю, что здесь были какие-то политические мотивы. А вот к лектору требования другие». В конце концов со мной согласились, и кафедра стала помощнее. Через год меня сделали временно исполняющим обязанности заведующего кафедрой, через два года – исполняющим эти обязанности, а после защиты докторской диссертации – уже заведующим. Казалось, все решилось, можно спокойно работать. Но в начале 1947 г. разразилась философская дискуссия по книге Г.Ф. Александрова.

Философская дискуссия 1947 г.

Л.М. В 1948 г. я поступил в МГУ и сразу же оказался в атмосфере обличительных кампаний, частью которых и была эта дискуссия. Если не ошибаюсь, все начиналось раньше – с хамских выпадов против О.Ф. Берггольца, К.Г. Паустовского, писателей с неподкупной репутацией, а затем покатился вал злобных обличений лучших представителей отечественной интеллигенции: Шостаковича и Прокофьева, Ахматовой и Зощенко, кибернетиков, менделистов-морганистов, космополитов, наконец. Зачем Сталину было нужно ставить под удар всю интеллигенцию, когда его власть и как партийного вождя, и как генералиссимуса была непререкаема, когда, напротив, стоял вопрос о консолидации советского общества?

Т.О. Думаю, что это объяснить несложно. Спецорганы наверняка докладывали ему, что миллионы воинов, вернувшихся с фронта, захлеб рассказывают о благополучной жизни в европейских странах, даже в таких, как Польша или Румыния, тем более что наши войска были выведены из них не сразу. Я, например, целый год оставался в Вене. Было немало случаев, когда солдаты и офицеры хотели жениться на иностранных подданных, ввергая в замешательство наше командование. Во всех этих прозападнических настроениях и разговорах явно проявлялось недовольство нашей жизнью, недоверие к официальным лозунгам и призывам. К тому же все больше людей осознавали вопиющую несправедливость репрессивных 30-х годов и были уверены, что своими подвигами и жертвами заслужили более справедливых демократических порядков. Так что Сталин почувствовал угрозу со стороны, как

тогда говорили, низкопоклонства перед Западом и решил навсегда с ним покончить. Естественно, что основной удар пришелся по наиболее талантливым, свободомыслящим представителям культуры, по людям неподкупной совести и профессионального достоинства. Да и исполнитель нашелся подходящий – велеречивый А.А. Жданов, готовый, казалось, на все.

Несколько иначе обстояло дело с философией. Конечно, отнести Г.Ф. Александрова к светочам культуры было бы несправедливо. Но он писал о философии, которую Маркс вслед за Гегелем характеризовал как «квинтэссенцию культуры», а кремлевские кураторы именовали «теорией мировоззрения». Тем более, что расхожие обвинения против отечественных любу мудров уже были проверены в деле. Ведь и в 30-е, и в 40-е годы их обличали именно за преклонение перед буржуазными учениями и игнорирование заслуг Маркса, Ленина и великого Сталина. Так что все пыточные инструменты были под рукой. Да и фигура Г.Ф. Александрова выглядела довольно подходящей на роль мальчика для битья.

Г.Ф. Александров все больше раздражал Сталина. Как-то в порыве откровенности Г.Ф. рассказывал мне, что свое избрание в академики (ноябрь 1946), а Иовчука, Федосеева, Кружкова и Еголина (это были его заместители) – в члены-корреспонденты, он провел, не испросив высшего разрешения, надеясь, что такой поступок сойдет ему с рук. Но, как оказалось, ошибся. По его словам, генералиссимус якобы даже советовался с президентом Академии наук СССР о возможности отменить выборы, но тот ответил, что по уставу это сделать невозможно. Тогда Сталин просто убрал новоиспеченного академика из ЦК и назначил директором Института философии, одновременно поручив А.А. Жданову продолжить обсуждение книги Александрова и самому выступить с основным докладом.

А всю кашу заварил опять-таки З.Я. Белецкий! 8 ноября 1946 г. он написал очередное письмо Сталину, в котором в резких тонах информировал, что только что вышедшее второе издание учебника Александрова игнорирует критические замечания ЦК по 3-му тому «Истории философии» и повторяет его ошибки. Тогда опытный царедворец и перестраховщик Александров организовал в Институте философии почти келейное обсуждение своей книги, состоявшееся 14, 16 и 18 января 1947 г. Поскольку автор занимал высокий партийный пост и к тому же получил Сталинскую премию, то, естественно, серьезной критики на нем не прозвучало. Теперь же, когда, по словам А.А. Жданова, «потребовалось вмешательство Центрального Комитета и лично товарища Сталина, чтобы вскрыть недостатки книги», даже самые тупоголовые коллеги поняли, как это обсуждение нужно было проводить, и быстро сделали правильные выводы. Как вы помните, на втором обсуждении книги 16-25 июня 1947 г. Жданов и большинство выступающих критиковали книгу довольно резко (я, кстати, в этой дискуссии не участвовал, но в материалах дискуссии есть выступление Белецкого, где он изложил свои нигилистические идеи в отношении философии).

Л.М. Но Александрову присудили Сталинскую премию, что едва ли было сделано без высшей санкции.

Т.О. Обычно Сталин просматривал списки кандидатов, вносил свои исправления, но едва ли заранее указывал конкретные имена. Думаю, что на этот раз он вовремя не обратил внимания, а потом решил последовать своей излюбленной манере – оставить человека при себе в полупридушенном состоянии. Александрову было даже поручено возглавить комиссию для написания новой книги по истории философии.

Л.М. Мы все читали учебник Александрова. Даже нам, первокурсникам, он казался слабым, даже примитивным. Может быть, сегодня это нехорошо говорить, но во многом Жданов был прав. Книга школярская, анемичная, лишенная профессионального подхода.

Т.О. Я уже говорил, что Александров был слабым ученым, хотя его лекции и семинары в ИФЛИ нас восхищали. Наверное, если бы мы были более подготовленными, впечатление было бы другим. Что же касается учебника, то первое издание

представляло собой стенограмму его лекций, читанных в ИФЛИ. Позже он довольно основательно ее переработал, думаю, не без посторонней помощи. Но на ее качестве это особенно не сказалось. Иное дело, что тогда сколько-нибудь серьезные учебники по философии вообще отсутствовали. Так, наиболее популярной была пухлая и беспомощная книга М.А. Леонова «Очерк диалектического материализма», к тому же в ней был обнаружен плагиат. Но, как я пытался показать, дискуссия была продиктована конкретными политико-идеологическими соображениями, а вовсе не заботой о качестве философии.

Формально она открыла новые перспективы. Была создана кафедра истории русской философии, по моему предложению нашу кафедру переименовали в «кафедру истории зарубежной философии», был введен курс истории марксистской философии. Но главное направление – европейская философия – было принижено. Да, была создана кафедра истории русской философии во главе с И.Я. Щипановым. Но он был весьма слабым, догматичным специалистом, хотя вел себя очень агрессивно в защите «принципа партийности». Еще хуже было другое: он и сотрудников подбирал по своему уровню, а лучше – еще ниже, если это вообще было возможно. Постепенно на кафедре обосновалась группа людей, которые не имели серьезного представления о русской философии и были способны лишь дискредитировать этот курс: П.С. Шкуринов, Ш.Ф. Мамедов и др. Так что в итоге дискуссия еще более подчинила разработку философии официальным стереотипам, тем самым исковеркав ее суть – свободного размышления о вечных проблемах человеческого бытия.

Дискуссия прошла, а моя жизнь на факультете становилась все более тяжелой. И, конечно, главным раздражителем выступал З.Я. Белецкий.

Феномен профессора З.Я. Белецкого

Т.О. Еще Светлов, когда уговаривал меня стать его заместителем, предостерегал: «Остерегайтесь Белецкого. Он опасный человек». Да и позже, уже проникшись ко мне доверием, он повторял: «Не связывайтесь с Белецким, я сам его боюсь, потому что он пишет Сталину, запросто звонит Маленкову. Он может вообще стереть Вас в порошок». В ответ я мог только жалобно сетовать, что это он постоянно давит на меня, я же только защищаюсь.

О предыстории я уже рассказывал. Конечно, в памяти партийного и философского начальства прочно отпечатался тот факт, что в 1944 г. Сталин решительно поддержал точку зрения Белецкого на немецкую классическую философию, в первую очередь, философию Гегеля. Разумеется, дело решила вовсе не убедительность его доводов (скажем, убежденный пацифист Кант такой оценки никак не заслуживал). Но в обстановке кровопролитной войны, схватки не на жизнь а на смерть Белецкий сумел уловить гражданские, глубоко патриотические чувства миллионов, и Сталин не мог игнорировать этого факта. Но часть святости Белецкому перепала, что определило его звездный час и неумную активность.

Так, все резко подчеркивая реакционную суть немецкой классической философии, Белецкий объявил, что и утопический социализм является буржуазным течением, а поэтому ошибочно рассматривать его как предшественника марксизма. Отсюда следовало (и Белецкий открыто выдвинул такое требование), что работа Ленина «Три источника и три составных части марксизма» должна быть вообще вычеркнута из списка рекомендованной литературы. Дальше – больше. Намекая на какое-то место из «Краткого курса истории ВКП(б)», он начинает доказывать, что вопрос об источниках учения Маркса вообще лишен смысла, поскольку марксизма возник не из каких-либо теорий, а в результате обобщения опыта рабочего движения.

Его любимой была фраза из «Немецкой идеологии», что философия так же относится к положительному исследованию, как онанизм к половой любви, а поэтому из нее надо «выпрыгнуть». Требование «упразднения философии», действительно, вы-

сказывалось Марксом и Энгельсом в ранних работах. Сюда же можно отнести и весьма сомнительное определение философии у Энгельса: от философии остается одна диалектика как теория мышления. Я много раз говорил Белецкому, что «Немецкая идеология» относится к периоду становления марксизма, что первые зрелые произведения марксизма – это «Нищета философии» и «Коммунистический манифест» (сегодня я уверен, что и они еще не совсем зрелые), и никакого внятного разъяснения этой мысли Энгельс не дает. Нет, возражал Белецкий, надо всерьез задуматься над тем, чем вообще должна заниматься марксистская философия, и является ли марксистской та, которую мы преподаем.

Белецкий, конечно, не имел ясного представления о реальном историко-философском процессе, а именно о том, что всякая большая философия начиналась с отрицания философии прежней, что всякое отрицание философии, если оно носит профессиональный характер, является философией. Разве Декарт, например, не занимался отрицанием философии, когда он говорил, что не было таких глупостей, которых не наговорили бы философы? Отрицанием прежней философии занимались и Юм, и Кант, и Фихте, и Фейербах. Поэтому Белецкий трактовал эти, сами по себе невнятные положения классиков в предельно вульгарной форме.

Так, ссылаясь на высказывание Ленина о том, что идеализм – утонченная поповщина, он делает сногшибательный вывод: развитие идеализма нужно изучать в курсе не истории философии, а истории религии. При этом постоянно кивает на категорическое определение А.А. Жданова: история философии – это прежде всего история формирования материализма в борьбе с всякими идеалистическими измышлениями. Тем самым в глазах своих учеников он не просто высказывал конъюнктурные идеи, подсказанные временем, но выступал как смелый мыслитель, решившийся на творческий пересмотр устаревших или неправильно понятых положений марксизма. И это несмотря на то, что он не читал лекций на факультете и все свои знаменитые изречения произносил на семинаре – единственной форме занятий, которую он вел, да и то не со студентами, а только с аспирантами.

Пока Александров был в силе, он как-то пытался парализовать влияние Белецкого, но к тому времени Белецкий уже чувствовал себя уверенно, если не сказать безнаказанно. И вот на факультет «со стороны» приходит новый доцент, который не только берет на себя фактическое руководство кафедрой, детально занимающейся этим самым идеализмом, но и указывает, как формировалась и к чему пришла философия марксизма. Белецкий, так сказать, кожей чувствует во мне идейного противника и начинает прощупывать меня на предмет скрытых симпатий к буржуазному идеализму, требуя безоговорочного признания собственных новаций, признания публичного – как заместителя заведующего кафедрой.

Л.М. Ну и как Вы на все это реагировали?

Т.О. Как Вы понимаете, особого выбора у меня не было. Я старался уходить от прямых столкновений, пытался найти какие-то компромиссные выводы, ссылаясь на бесспорные тексты, хотя в глубине души понимал, что против лома нет приема. Например, он меня спрашивает, согласны ли Вы с тем, что идеализм есть поповщина. Я отвечаю, что вообще средневековая философия, даже схоластическая, не была теологией, хотя служила ей. Однако уже начиная с Декарта, Спинозы, Юма, она начинает отмежевываться от позиции церкви. «А вот моя точка зрения, – отвечает Белецкий, – заключается в том, что идеализм вообще надо перенести в курс по истории религий. Показал же товарищ Жданов, что история философии есть история возникновения и развития материалистического мировоззрения». Я достаточно робко возражаю, что, даже излагая историю материализма, нельзя обходить идеализм, хотя бы потому, что они выступают как антагонисты, анализируют доводы друг друга, возьмите хотя бы Беркли или Гольбах. Но такие детали Белецкого не волновали.

Интересуясь моим курсом по истории марксистской философии, он любил спрашивать: «А как Вы рассматриваете утопический социализм?» Я отвечаю, что существовали его разные течения: мелкобуржуазное, предпролетарское или, как говорил

Маркс, «критически-утопическое», не говоря уже о раннем утопическом социализме, возникшем еще в феодальные времена. Нет, возражает Белецкий, во всяком случае, тот утопический социализм, на который ссылаются классики марксизма, следует считать буржуазным учением. Нужно подумать, отбиваюсь я, но я больше полагаюсь на характеристики утопизма, которые даны в «Манифесте коммунистической партии».

Вот так и дискутировали. Вместе с тем он, конечно, был догматиком. Так, он вычитал у Сталина, что марксизм «возник из науки» и безапелляционно заявлял: значит, на утопический социализм ссылаться незачем. Из какой науки, он не уточнял.

Л.М. Кое-что все же остается неясным. С одной стороны, объявляя философию Гегеля предшественницей фашизма, Белецкий чутко улавливал конъюнктуру и вписывался в официальную идеологию как ее верный оруженосец. С другой, отвергая или произвольно трактуя положения Ленина, он выступал как чуть ли не оппозиционер или диссидент. Получается странная картина. Если ревизией занимается даже догматик, то он неизбежно ставит себя под удар. Я понимаю, когда под удар ставит себя талантливый свободомыслящий профессионал. Но Вы же настаиваете на том, что Белецкий был человеком, философски малограмотным.

Т.О. Он вполне сочетал верность догматам и некое теоретическое своеволие. Первое проявлялось, например, когда Белецкий приводил упомянутые слова Маркса о философии. Мы все их знали. Но нам в голову не приходило принимать их всерьез. Это смахивало на утверждения механистов о том, что наука сама по себе философия. К тому же надо учесть, что у него не было стройной системы взглядов, даже не было лекционного курса, где бы он систематически излагал свои взгляды. Поэтому многое у него выглядело случайно. Так, Белецкий вычитал в «Материализме и эмпириокритицизме» Ленина фразу о том, что объективная истина – это и есть сама объективная реальность. Он воспринял ее буквально и стал настойчиво доказывать, что объективная истина существует не в познании, а независимо от познающего субъекта. Я осторожно, ссылаясь на другие высказывания Ленина, возражал Белецкому, указывая на то, что признание объективной истины объективной реальностью – это точка зрения Платона, Гуссерля и некоторых других идеалистов. Он, конечно, все эти доводы и в грош не ставил.

Белецкий был агрессивен не только в отношении меня. Можно сказать, что большинство преподавателей факультета его ненавидели и боялись, хотя мотивы были разные. Самое интересное, что часто враждебное отношение к нему испытывали безнадежные догматики. Они считали его неисправимым ревизионистом и дорого бы дали, чтобы это доказать. Но придраться к нему было почти невозможно: он ничего не публиковал, причём, так сказать, принципиально. Помню, как я шел по факультету, держа в руках верстку первой книжки, написанной совместно со Светловым (фактически же мной – от начала и до конца). «Что это такое?» – подозрительно спросил Белецкий. Да вот, небольшая книжка, ответил я. Он сказал назидательно: «Вы должны раз и навсегда усвоить, что каждая книжка осуждена уже фактом своего опубликования».

Л.М. Помню, нам удалось обнаружить лишь одно его сочинение – синенькую брошюру об историческом материализме с его статьей.

Т.О. Да, у него была маленькая книжечка, которую он опубликовал под нашим давлением. Ее верстка была поставлена на обсуждение. Тогда я совершил непростительную ошибку: выступил на заседании совета факультета и стал ее критиковать, указав на массу сомнительных положений. Белецкий был далеко не глуп, и большинство из этих замечаний учел. Конечно, многие несуразности и банальности остались, но по тем временам они уже не выглядели слишком вызывающе.

Л.М. Что ж, «слово изреченное есть ложь». Во всяком случае, его трудно согласовать с новейшими указаниями верховного ума. Писали Вы, писал Кедров, а вот руководящие корифеи предпочитали редактировать («обрабатывать»), как они выражались) заказанные своим подчиненным тексты с цитатами на иностранных языках.

Помню, как на одном заседании Отделения философии и права Ф.В. Константинов даже обвинил Б.М. Кедрова в том, что он неприлично часто печатается. Бонифатий Михайлович отреагировал мгновенно: «Да мне поневоле за всех вас, академиков, приходится отдуваться». Я вот вспоминаю Ваш готический почерк и представляю, сколько же Вам пришлось перелопатить всякой начальственной галиматши.

Т.О. Если угодно, таков был стиль времени. Даже в издательстве редактор считал нужным переписывать текст. Вспоминаю забавный эпизод. Какое-то время я работал консультантом в «Большевике», и ответственный секретарь Л.Ф. Ильичев часто поручал мне вести статьи ответственных работников. Однажды пришла статья «Необходимость и случайность». Ильичев дал мне дружеское напутствие: «Все это, конечно, мура, но ты уж постарайся. Как-никак, он заведующий сектором ЦК». Я, естественно, целиком ее переписал и сдал в набор. Через некоторое время входит автор, держа в руках верстку. Я похолодел: начнутся упреки в непростительном искажении самых заветных мыслей. А он так радостно говорит: «Товарищ Ойзерман! Я слышал, что Вы были редактором моей статьи. И я хотел Вам сказать: когда читаешь свою работу в верстке, она всегда выглядит на порядок выше».

Л.М. Еще лучше выглядели раскавыченные цитаты из классиков. Помню, как один философ публично обвинил Г.Е. Глезермана в том, что он грубо искажает марксизм. В ответ тот, ничуть не смутившись, вооружился кипой томов и показал, что все эти положения – не что иное, как раскавыченные цитаты из классиков. Ученая аудитория была удовлетворена, а злопыхатель посрамлен.

Т.О. Кстати, я помню одно Выше мудрое рассуждение, на которое люблю ссылаться. Догматизм, писали Вы, не в том, чтобы слепо относиться к текстам классиков. Догматизм – это четкое знание, что из классиков можно цитировать, а что – нет.

Л.М. Проблема возникала тогда, когда вопрос ставился конкретно: как отличить «новаторский» дух от греха «ревизионизма», доколе позволительно мыслить самостоятельно, чтобы не получить по шапке? Ссылки на классиков дела не решали, потому что наверху сами знали, что нужно цитировать, а что нет и как соответствующие цитаты истолковывать. Здесь, как и в любой священнической системе, граница между «творческим» (дозволенным) и «еретическим» (наказуемым) определялась не самими авторами и даже не смыслом высказываний, а партийными авгурами, данную систему создающими и охраняющими. Невольно думаешь – умница был Л. Фейербах: «Каждая эпоха вычитывает из Библии лишь себя самое; каждая эпоха имеет свою собственную, самодельную Библию»⁶.

Т.О. Да, Г.Е. Глезерман был большим знатоком всех тонкостей жреческого языка. Часто в спорах я упрекал его: «Вы постоянно уверяете, что у нас построен развитой социализм, совершенно игнорируя ленинское положение о том, что для этого необходимо превзойти капитализм по производительности труда». На это он без тени растерянности отвечал: «Да, мы пока отстаем по производительности труда, но наше производство более эффективно: нет безработицы, все развивается по плану, целесообразно».

Л.М. Итак, после дискуссии 1947 года власть Белецкого стала все же слабеть?

Т.О. Нет, это был не линейный процесс, здесь постоянно возникали свои непредсказуемые повороты и зигзаги. Действительно, Белецкий многих раздражал, в том числе и работников отдела науки ЦК. Но они люди служилые, перед начальством беззащитные. Однажды вызывают меня в этот отдел, правда, не к Ю.А. Жданову, а к Хлябичу (позже проректор МГУ): «Вот Белецкий пишет, что Вы постоянно расхаживаете по факультетскому коридору и открыто проповедуете идеализм». Я возмутился – что за чепуха, ничего такого нет. «Да я сам знаю, что это чепуха. Тем более, что мы специально запрашивали ваш партком, и он подобных фактов не подтвер-

⁶ Фейербах Л. Избр. философские произв. М., 1955. Т. 1. С. 264.

дил. Но поймите, если он второй, третий, четвертый раз нам напишет об этом, мы вынуждены будем разбираться».

Синдром Белецкого ощущался постоянно. Однажды «Большевик» предложил мне совместно с В.И. Светловым опубликовать статью «Немецкая классическая философия как источник марксизма» (писал ее, как нетрудно догадаться, я). В ней мы осторожно, по возможности убедительно указывали на немецкую классическую философию как один из источников марксизма. И позже заведующий отделом философии А.Г. Егоров, человек в партийных кругах весьма влиятельный (впоследствии зам. зав. Отделом ЦК, академик), рассказывал, как трудно эту заказанную (!) статью было пробить в печать. То ли не хотели лишний раз связываться с Белецким, то ли откровенно его боялись.

Как бы то ни было, к началу 1948 г. мы, как мне казалось, его расколотили по всем направлениям. В итоге на Ученом совете было принято неординарное решение: отправить Белецкого в творческий отпуск для написания докторской диссертации. Для него это был страшный удар. Но долго ликовать нам не пришлось. Грянула сессия ВАСХНИЛ, по докладу Т.Д. Лысенко громившая вейсманистов и менделистов. Из философов его активно поддержали Митин и Белецкий, который сразу же появился на факультете. Деканом биологического факультета МГУ был назначен подручный Лысенко И.И. Презент – то ли юрист, то ли философствующий биолог. На какое-то время Лысенко стал символом передовой советской науки и в этом амплу позволял себе самые грубые высказывания в адрес несогласных с ним. С Белецким они были близнецы-братья. Лысенко часто приходил к нам на факультет и выступал. Выступал, конечно, нелепо. Он был способен, например, говорить такие вещи: живое может заводиться вши. Очень сомневался насчет витаминов: надо еще изучить, существуют ли они, или это выдумка, такая же как гены.

Сессия круто изменила обстановку: мы моментально были зачислены в лагерь противников партийного подхода. Белецкий так и заявлял: Ойзерман и его сотрудники занимаются филиацией идей, это проявления антинаучного вейсманизма-морганизма в области философии. Спешно была созвана коллегия Министерства высшего образования с отчетом нашего факультета. На нем нас крыли почем зря: Белецкий отстаивал правильную линию, а вы пытались от него избавиться, отправили его писать диссертацию и т.д. Всех заставили выступить. Оставалось только каяться. Помню свою речь, достаточно позорную, поскольку признавал ошибки, которых не было. Впрочем, так же выступал Д.И. Чесноков и, конечно, декан Кутасов. Решение было суровое: Кутасова снять. Меня, думаю, спас Светлов, к тому же я формально не был заведующим кафедрой. Деканом стал А.П. Гагарин, кстати, также не переносивший Белецкого.

Л.М. И на фоне этих шумных событий как-то незаметно сошел с философской сцены Д.А. Кутасов. Он хорошо запомнился нам. Во-первых, был деканом, а во-вторых, читал нам, первокурсникам, курс по диалектическому материализму. Читал примитивно. Но был красноречив, говорун, постоянно шутил, пересыпал речь смешными примерами. И я вспоминаю о нем с какой-то добротой. Он был поверхностен, но и не выдавал себя за глубокого мыслителя, был доцентом, но не порывался получить докторскую степень, ничего не печатал, никого не обличал. А в те времена уже это было заслугой. На его место пришел А.П. Гагарин – человек отзывчивый и добродушный, но удивительно темный. Почему же и он ввязался в борьбу с Белецким?

Т.О. В этом-то и состоит объяснение. Гагарин, равно как Щипанов и другие названные и неназванные Вами профессора, будучи человеком малограмотным, усвоил некоторые азы философии, которые считал незыблемыми. Почему, спрашивается, они были против Белецкого? Да потому, что у Ленина написано иначе, а Белецкий искажает эти азы, давит своим авторитетом, мешает спокойно руководить.

Л.М. Тогда объясните, пожалуйста, другую загадку. У меня осталось впечатление, что талантливые, способные, люди: В.Ж. Келле, М.Я. Ковальзон, Ш.М. Герман,

А.И. Вербин, А.Е. Куражковская и др. едва ли не молились на Белецкого, во всяком случае, видели в нем человека творческого, смелого новатора, который никак не довольствуется повторением общеизвестных формул, принципиально борется против догматиков, которые цепляются за обветшалые, отжившие формулы.

Т.О. Большой загадки я здесь не вижу. Именно Белецкий всех их взял на кафедру, во многом обновив ее. Германа, например, не хотели оставлять – тот же пятый пункт. Белецкий позвонил Маленкову, и тот его поддержал. Он же был их научным руководителем. И ребята эти многим были лично ему обязаны, возможно, чувствовали, что с Белецким не пропадешь. Келле он дал тему «Философия Гегеля как аристократическая реакция на Французскую революцию», хотя Гегелем тот специально никогда не занимался. Диссертация М.Я. Ковальзона тоже была по истории философии. Одним словом, Белецкий был для них как бы крестным отцом, и такое отношение они сохранили даже тогда, когда его уволили.

3. Я. Белецкий и «гносеологи»

Т.О. Вскоре мой конфликт с Белецким принял открытый характер. Повод был просто нелепый. Белецким овладела новая идея: философия является не мировоззрением, а представляет собой теорию мышления. И бдительные головы сразу же просигнализировали, что аналогичные идеи отстаивают мои аспиранты Э. Ильенков и В. Коровиков. Это была явная натяжка. Они, конечно, терпеть не могли Белецкого и всю его команду, считая их неисправимыми невеждами, и свои суждения формировали независимо от них. Думаю, что определенную роль сыграл Тодор Павлов, утверждавший в «Теории отражения» (разумеется, со ссылками на Энгельса), что философия должна быть понята как теория мышления. Ильенков, я полагаю, пришел к этой мысли в результате стремления материалистически истолковать учение Гегеля. По Гегелю, философия действительно является теорией мышления, поскольку все развитие есть развитие понятия, которое представляет собой самодостаточную субстанциальную реальность. Эвальд Васильевич, конечно, так не думал. Он просто считал, что философия есть теория мышления в смысле теории познания. Поэтому она не является мировоззрением, которое охватывает все и вся, тогда как философия имеет определенный предмет, а именно мышление.

Л.М. Зная творческие наклонности Ильенкова и Коровикова, можно предположить, что это была реакция на идеологизирование философии?

Т.О. Да, пожалуй, Вы правы; плюс, возможно, попытка отмежеваться от онтологического толкования философии. Как раз тогда по инициативе Б.М. Кедрова остро обсуждалось конспективное замечание Ленина о том, что «не надо трех слов»: диалектики, логики, теории познания. Позже это перешло в пресловутую дискуссию о соотношении диалектической и формальной логики, на которой громили В.Ф. Асмуса и М.С. Строговича.

Л.М. Вы помните дискуссию Д.И. Дубровского с Ильенковым об идеальном. Как Вы ее оценивали?

Т.О. Думаю, что прав был Ильенков. Его заслуга, возможно, главная, состояла в том, что он понял из Маркса: идеальное есть не просто мыслимое, воображаемое, духовное; оно существует как материальное явление, как материализация человеческих замыслов, деятельности и т.д. Иное дело, что в процессе обсуждения этого вопроса он иногда соскальзывал на точку зрения Гегеля относительно объективности самого мышления, не в смысле его объективного содержания, а в смысле того, что оно само является онтологической реальностью. С этим я был не согласен. Да и он сам позже пересмотрел такую точку зрения. Так что наши немногие расхождения постепенно стерлись. Пока Ильенков и Коровиков высказывали свои идеи на кафедре, иногда на семинарах со студентами, у нас шла спокойная, благожелательная дискуссия, не вызывавшая никаких осложнений. Раздувать шумные битвы никто не хотел. Вскоре, однако, произошло неприятное событие.

Белецкий организовал у себя на кафедре симпозиум «Что такое философия?», в котором Ильенков и Коровиков, конечно, не участвовали. Основной доклад сделал Кочетков, который в крайне упрощенной, но категорической форме заявил, что неправильно считать философию мировоззрением, поскольку она есть теория мышления. Выяснилось, что декан Молодцов подослал стенографистку, которая записала как доклад Кочеткова, так и выступление Белецкого и его единомышленников, которые развивали эту точку зрения. Стенограмму Молодцов не показал авторам, поскольку понимал, что они обязательно сгладят наиболее острые формулировки, а быстро переправил ее в отдел науки ЦК ВКП(б).

Если секретари ЦК относились к Белецкому более или менее благожелательно, то в отделе науки его терпеть не могли за постоянные жалобы на состояние философии, в том числе и на сам отдел, который, по его мнению, потворствовал ревизионистам. Поэтому стенограмма вскоре оказалась на столе секретаря ЦК П.Н. Поспелова. Он пришел в ярость: на факультете отрицают мировоззренческое значение марксистской философии, и распорядился созвать партактив всего МГУ, на котором самолично в пух и прах разделал эту концепцию. Тем самым звездная карьера Белецкого закончилась: его перевели в Инженерно-экономический институт, где он тихо дожил до конца своих дней. Основательно «почистили» и его кафедру: кого-то уволили, Кочеткова, Келле и Ковальзона перевели на кафедру философии естественных факультетов. Место Белецкого занял сам В.С. Молодцов, хотя в диамате он был совсем не силен.

Неожиданно для себя я также оказался единомышленником Белецкого. На очередном Ученом совете Щипанов и Черкесов яростно набросились на меня за то, что я покрываю «гносеологов» Ильенкова и Коровикова, которые проповедуют те же идеи, что и «известный вульгаризатор» Белецкий. Строго говоря, это было неверно. Но, к сожалению, Молодцов не возразил, а они стали требовать, чтобы аспирантов с кафедры уволили, а мне вынесли взыскание, до которого, правда, дело не дошло. Что делать? Позвонил Александрову: «У меня есть серьезный специалист Ильенков. Возьмете его?» «А он действительно хороший?». «Да, удивительно талантливый». – «Тогда возьму». И Эвальд Васильевич с радостью согласился. А о Коровикове я не беспокоился: он увлекался географией и подумывал перейти на журналистскую работу. Так что, не дожидаясь увольнения, он стал собственным корреспондентом «Правды».

Л.М. И как я знаю по встречам в США, одним из самых уважаемых журналистов-международников, признанным знатоком африканских дел.

Т.О. Я позже несколько раз встречал его, и он признавался, как хорошо получилось, что он попал в эту якобы беду. Так завершилось триумфальное философское шествие З.Я. Белецкого и, по иронии судьбы, взбудоражившая весь факультет борьба с «гносеологами».

Защита докторской диссертации

Много докторских защит мне довелось видеть на своем веку, но защита Т.И. Ойзермана (октябрь 1951 г.) врезалась в память как прямо-таки эпохальное событие на философском факультете. Поразила особая, одновременно торжественная и нервная обстановка, в которой она происходила. Помню Круглый зал, до отказа набитый студентами, преподавателями, людьми незнакомыми. Величественный президиум, бледный, измученный Ойзерман, любопытствующие лица, ожидающие чего-то совсем неординарного. Как выяснилось позже, все это было не случайно. Красочнее и точнее всего рассказал сам соискатель.

Т.О. Это была настоящая пытка. Дня за два до защиты декан факультета А.П. Гагарин растерянно сообщил: только что позвонил Г.Ф. Александров и категорически отказался участвовать в защите в качестве официального оппонента. Он заболел, с дачи приехать не в состоянии и просит всяческих извинений. Стали думать, что делать. Тут же уговорили М.А. Дынника быть оппонентом, но, зная нависшую над защитой угрозу, я решил, что этого недостаточно. Срочно взял такси и покатил на дачу академика. Приехал, вижу, он гуляет по участку с двумя собаками. Спраши-

ваю, в чем дело? Он смущенно промолчал, пригласил в дом, поставил бутылку «Гурджаани». Выпили. Я говорю: «Как-то нехорошо получается. Вы же обещали». «Действительно, нехорошо, – отвечает он. – Из ЦК меня попросили, теперь я директор Института философии. А вчера ко мне заявился З.Я. Белецкий и предупредил, если я выступлю в качестве оппонента, то он немедленно напишет разоблачительное письмо в ЦК, в котором покажет, что я поддерживаю диссертацию, написанную с меньшевистских позиций, которых сам давно придерживаюсь. Понимаешь, в этой обстановке я не могу рисковать. Я всегда поддерживал тебя и готов поддерживать дальше, но, прости, не в этот раз».

Вижу, академик перепуган основательно и пытаться настаивать на своем бесполезно. Но все же говорю: «Ваше положение я понимаю, но поймите и мое. Защита почти наверняка срывается, многолетний труд идет насмарку. Белецкий торжествует. Я уже не говорю о моей репутации, но подумайте о своей. Представляете, какие пересуды и слухи это вызовет. Давайте искать выход». И тут меня словно осенило: «Важно, чтобы не создалось впечатления, что Вы поддались шантажу Белецкого и отвернулись от меня. Согласимся, что со здоровьем у Вас, действительно, неважно. Поэтому пошлите записку декану, что в связи с болезнью не успели прочитать всю работу, но та часть, с которой Вы ознакомились, не вызывает никаких возражений и вполне соответствует требованиям, которые предъявляются к докторской диссертации».

То ли Александров был порядком навеселе, то ли почувствовал угрызения совести, что с ним иногда случалось, но он взял бумагу и на двух страничках набросал такое послание. Надо было видеть радость Гагарина! И в начале защиты он торжественно, словно с амвона, зачитал это письмо, что выглядело как одобрение диссертации, хотя и неполное. Присутствующий Белецкий сразу же изменился в лице, посидел минут пять и ушел. Все вздохнули с облегчением, и защита пошла своим ходом. Кстати, официальные оппоненты (например, проф. С.Б. Кан, член-корр. М.Д. Каммари) высказали немало серьезных критических замечаний, я подробно на них отвечал. Но голосование удивило, кажется, всех: единогласно «за».

Примерно через год я уехал с женой на Рижское взморье, и там вскоре получил от Александрова телеграмму, поздравляющую меня с утверждением в ВАКе. С ней связан один забавный момент. Оказывается, Александров, узнав, что на защите присутствовало много народа, Белецкий ушел, голосование было единогласным и все вышло по-праздничному, воодушевился и написал в ВАК, что поскольку он по болезни не мог присутствовать на защите, то считает нужным сообщить, что сейчас, полностью ознакомившись с диссертацией, он присоединяется к ее самой высокой оценке. Как видите, все-таки переживал свою нерешительность, тем более что Белецкого он ненавидел, как только мог.

Кстати, Белецкий свою угрозу исполнил. Он написал письмо Сталину о том, что имеется группа новых меньшевистствующих идеалистов или, попросту говоря, меньшевиков, возглавляемая Александровым, в которую входят проф. Г. Гак, проф. М. Розенталь, доцент Коган и доцент Ойзерман. Фамилии, как видите, подобрал подходящие. Я об этом долго ничего не знал. А в 1957 г. меня пригласили на фестиваль молодежи в качестве руководителя одного из симпозиумов. В заключение был торжественный прием для именитых гостей. Он был подготовлен крайне бестолково, и почти никто из иностранцев не пришел. И мы, советские организаторы, сидели и томительно ждали. Наконец, наш руководитель, министр высшего образования В.П. Столетов, распорядился: «Закуси полно, выпить тоже кое-что имеется. Начинаем!». Когда мы немного захмелели, он с заговорщическим видом сказал: «Давайте я расскажу историю, как Вас хотели зарубить». Оказывается, письмо до Сталина все же дошло, но он на этот раз никакой резолюции не наложил, а просто переслал его М.А. Сулову. А Сулов особых симпатий к Белецкому, по-видимому, не питал и поручил разобраться в нем Столетову, добавив, что особо торопиться не следует.

И Столетов разбирался года два. За это время меня не только утвердили в докторской степени, но и присвоили звание профессора.

Обращение к Марксу

Л.М. Многие из моего поколения понимали, что проблематика диамата, истмата, научного коммунизма неизбежно загоняла нас на утоптанное поле догматизма, а поэтому предпочитали историю философии, логику, новейшую философию Запада, социологию и другие дисциплины, позволявшие хотя бы некоторую свободу суждений и оценок. Вы же кандидатскую диссертацию посвятили проблеме свободы и необходимости – достаточно тривиальной и притом пронизанной марксистскими штампами. Больше того, в своей докторской диссертации Вы обратились к предельно политизированной тематике, связанной с революцией 1848 г.

Причем у нас создавалось впечатление, что наибольшее внимание Вы уделяли ранним, так сказать, «незрелым» работам Маркса – примерно до «Немецкой идеологии». Что же касается последующих работ Маркса, даже «Капитала», а особенно Энгельса, то они характеризовались бегло, без особого увлечения. Чем все это объяснялось: желанием уйти в «раннего» Маркса, столь непохожего на «позднего», или скрытым (открытое грозило опасностью) неприятием того примитивного уровня, на котором преподавался не только диамат, как вершина философской мысли, но и сам «зрелый» марксизм? А может быть, Вы уже тогда видели просчеты развиваемого Марксом учения и стремились критически осмыслить их в более широком контексте западной философской мысли?

Эти вопросы не случайны. Ваши лекции действительно были необычны, в них явственно ощущался некий подтекст (или надтекст), некая установка на метафилософский подход. Кстати, это точно уловил В.А. Лекторский: «Большую роль в развитии нашего поколения сыграли лекции Т.И. Ойзермана по истории марксистской философии. Именно от Теодора Ильича мы узнали об идеях раннего Маркса, которые в то время не популяризировались. В 1954 г. Теодор Ильич прочитал нам спецкурс по «Критике чистого разума» Канта, который я считаю революционным. Т.И. Ойзерман тщательно, параграф за параграфом, разбирал знаменитую кантовскую «Критику», комментировал ее и сопоставлял с ходячими представлениями о познании, которые преподносились нам до этого в курсе диалектического материализма. Это, конечно, не было критикой марксизма. Наоборот, лектор пытался показать, что марксистская философия понимается у нас поверхностно и даже искаженно, ибо она не может быть по своему уровню ниже того, что сделано Кантом. Но это была сильнейшая критика ходячего диамата и формулировка тех серьезных проблем, которые есть в области теории познания и которые во многом еще предстоит разрабатывать. А мы, слушатели спецкурса, начали обстоятельно штудировать Канта».

Т.О. После дискуссии по книге Александрова я был обязан максимально учесть ее итоги и прежде всего директивное выступление Жданова. Одним из таких нововведений, как я уже говорил, стал курс истории марксистской философии.

Еще до войны меня крайне заинтересовало то немногое, что было опубликовано из раннего Маркса. Я также был в курсе тех дискуссий о молодом Марксе, которые велись на Западе (Маркузе и др.) и не были переведены на русский язык. В этом я видел некоторый противовес тому догматическому пониманию марксистской философии, которое сводилось к изложению основных черт диалектики и материализма, что уже тогда мне представлялось поверхностным, хотя до этого я историю марксистской философии специально не изучал. Если бы обстоятельства не заставили

⁷ Митрохин Л.Н., Лекторский В.А. «О прошлом и настоящем (беседа)» /Субъект. Познание, деятельность. К 70-летию В.А. Лекторского. М., 2002. С. 15-16.

меня взяться за общий курс по истории марксистской философии, то, возможно, я продолжал бы заниматься преимущественно молодым Марксом.

Однако когда я внимательно проштудировал более поздние работы, то быстро увлекся ими, прежде всего самим процессом стремительного формирования взглядов Маркса, и старался подробно показать его механизм на примере ранних работ. Курс был небольшой – всего один семестр, поэтому на остальные работы, скажем на «Капитал», «Анти-Дюринг» и т.д., оставалось не более трех-четырех лекций. Мне было интересно показывать, как Маркс и Энгельс переходили от одного воззрения к другому, заблуждались, преодолевали эти заблуждения, а иногда им это не удавалось. Так, например, в «Немецкой идеологии» мы находим положение, что частная собственность и разделение труда – это тождественные выражения; в «Нищете философии» утверждается, что существование обособленных профессий есть профессиональный идиотизм, а в «Манифесте коммунистической партии» говорится об «идиотизме деревенской жизни».

Так что чтение курса истории марксистской философии, особенно ее раннего периода, означало погружение в марксизм, который еще не стал системой раз и навсегда установленных истин, и подвигало к недогматическому его усвоению. Конечно, никаким «диссидентом» я себя не считал. Единственное, что я понимал: ко мне могут придрататься. Но в силу заложенного во мне оптимизма и, может быть, излишней самоуверенности я полагал, что придрататься будут не слишком и всегда найдутся порядочные и справедливые люди, которые поймут, что я излагаю Маркса честно, с правильных позиций, а критически высказываясь о раннем Марксе, следую его собственному примеру, не говоря уже том, что даже у Ленина на этот счет имеется немало критических замечаний, которые я старался всемерно учесть. Для студентов это выглядело необычно и ново главным образом потому, что преподавание диалектического материализма вращалось в основном вокруг основных черт диалектики и материализма, причем эти черты излагались весьма примитивно. В этом смысле я пытался предложить, в сущности, некоторое введение в диалектический материализм.

У меня не было желания провоцировать конфликт, и я осознавал опасность такого способа преподавания. Возможно, я был излишне наивен. Вообще эта наивность для меня весьма характерна. Я уже рассказывал о случае, когда прямо заявил, что Бродова арестовали скорее всего по ошибке, но мне и в голову не приходило, что то же самое может случиться и со мной. У меня всегда сохранялась оптимистическая вера, что все рано или поздно образуется, а отсюда и необъяснимая решительность и необдуманные поступки, которым я сам каждый раз удивлялся. Точно так же я вел себя на войне, когда появлялся там, где мне, как инструктору политотдела, находиться было совсем не обязательно.

Постепенно я все чаще наталкивался на положения, которые вызывали сомнение. Например, в «Анти-Дюринге» Энгельс говорит, что при социализме исчезнет такое положение, когда один человек по профессии, скажем, архитектор, а другой -тачечник. А будет так, что архитектор сначала работает как архитектор, а потом толкает тачку, хотя он, конечно, не говорит, что таечник будет работать в качестве архитектора. В этом смысле известное критическое отношение к некоторым положениям марксизма у меня возникало уже тогда, хотя я боялся себе признаться в этом. Но это так или иначе нашло отражение даже в моей докторской диссертации.

Многие ключевые положения, скажем, идея диктатуры пролетариата, слома государственной машины, непрерывной революции, как известно, были высказаны Марксом и Энгельсом на основе опыта революции 1848 г. К сожалению, однако, обычно забывают, что впоследствии они их в известной мере пересмотрели. Как признавал Энгельс, идею непрерывной революции высказывал уже Марат, а Маркс в 1850 г. в споре с Виллихом и Шаппером фактически отказался от этой идеи, заявив, что пролетариату понадобится еще 10, 20, 50 лет борьбы, пока он не будет спо-

собен взять власть. Значит, непосредственного перехода от буржуазной революции к революции пролетарской Маркс уже не признавал, хотя и полагал, что революции XIX в. – это уже не просто буржуазные революции, а, как он их называет в «18 Брюмера Луи Бонапарта», «пролетарские революции XIX века». Так что тут остается неясность, которую Маркс и Энгельс до конца не преодолели. Одним словом, для меня это была некая подготовительная школа к тому критическому переосмыслению марксизма, которое я предпринял в последние годы.

Помню, и тогда меня очень смущала формула Ленина: «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно». Как ее, недоумевал я, можно сочетать с материалистическим пониманием истории, которое видит в сознании, в теории отнюдь не всесильное начало. Прямо отрицать ее я, понятно, не мог и старался найти приемлемый выход. И нашел, как его рано или поздно находили все схоласты: это учение превращается в материальную силу тогда, когда овладевает массами и тем самым становится, так сказать, всесильным, хотя ничего всесильного, всемогущего вроде бы и не существует.

Институт философии АН СССР

Л.М. В начале 60-х годов Вы были едва ли не самым уважаемым заведующим едва ли не самой уважаемой кафедры; начальство к Вам благоволило, студенты платили любовью – это уже я могу засвидетельствовать. Почему же Вы покинули МГУ?

Т.О. Как Вы знаете, на фронте я получил тяжелую контузию, но постепенно ее последствия стали проходить, я остался в армии до конца войны и домой вернулся вполне работоспособным. Но начиная с 1957 г. стал чувствовать себя все хуже и хуже, особенно во время чтения лекций: сжималось сердце, в голове появлялась тяжесть, рассеивалось внимание. Врачи давали какие-то лекарства, однако они помогали мало и я был вынужден постепенно сокращать свои лекционные часы. К тому же как-то разладилась обстановка на кафедре, например, ухудшились мои отношения с Ю.К. Мельвилем, В.В. Соколовым, М.Ф. Овсянниковым. И я почувствовал, что определенный круг жизни завершился и пора сосредоточиться исключительно на исследовательской работе. Поэтому, когда в 1966 г. меня избрали членом-корреспондентом АН СССР, я принял решение целиком перейти на работу в Институт философии, что мне неоднократно предлагал сделать Ф.В. Константинов. Сначала я был старшим научным сотрудником в Вашем секторе, если Вы, конечно, не забыли.

Л.М. Как же! Для начала мы выпустили почти диссидентскую книгу «Философия и наука». Я написал к ней предисловие (довольно ученическое, как понимаю сегодня), но с радостью включил в нее нашу шумевшую «статью трех» (Мамардашвили, Соловьева и Швырева), работы тогда опальных А.П. Огурцова, Э.Г. Юдина, Н.С. Юли-ной, статью Б.М. Кедрова и Вашу, помню, «Философия и идеология».

Т.О. Ну, статья эта представляла собой резюме к моей только что написанной книге и не думаю, что она предлагала много новых идей. Позже, когда умер М.А. Дынник, П.В. Копнин предложил мне заведовать сектором. Я увидел, что там довольно скудно с людьми, и пригласил Н.В. Мотрошилову и Э.Ю. Соловьева. У меня было ощущение, что я пришел в коллектив, где можно было спокойно работать, и в первые же годы выпустил две монографии «Проблемы историко-философской науки» (1969) и «Главные философские направления» (1971). Правда, отношения с новым директором Б.С. Украинцевым как-то сразу не сложились.

Однажды он пригласил меня к себе в кабинет. «Я хочу с Вами поговорить по-товарищески. Вы, наверное, хорошо знаете Келле, потому что работали с ним в Университете. Сейчас возникла такая обстановка, что ему лучше всего самому уйти из Института. Я просил бы Вас по-товарищески посоветовать ему сделать это, в ином случае мы заведем на него персональное дело». Я ответил, что о В.Ж. Келле самого хорошего мнения, и так или иначе догадываюсь об «особой обстановке», но такую

просьбу выполнить не могу. Вадиму Жановичу об этом разговоре все же рассказал. Не знаю, как конкретно развивались дальнейшие события, но Келле вскоре перешел в Институт истории естествознания и техники.

А тут отчет Института философии в ЦК с докладом Украинцева. На нем присутствовали руководящие работники Института и отдела науки ЦК, в том числе и вице-президент Академии наук П.Н. Федосеев. Председательствовал зав. отделом СП. Трапезников. До сих пор помню свое выступление (черт меня дернул!), кажется, ошеломившее всех. Когда Украинцев закончил, я спросил председателя, можно ли задавать вопросы. Тот разрешил. «У меня, говорю, такой вопрос: был ли Украинцев как директор Института в каком-либо Институте философии союзных республик?». Он ответил, нет, не был. Задаю второй вопрос: «Был ли товарищ Украинцев как директор Института в каком-либо из Институтов философии и университетов стран народной демократии?». Он снова говорит: «Нет, не был».

А затем, когда началось обсуждение, я выступил и, рассказав про историю с Келле, произнес прямо-таки обличительную речь: Украинцев очень слабый директор, вся власть в Институте принадлежит МГБ (сформулировал нехорошо, в чем меня потом справедливо упрекали), то есть, Мишину, Герасимову и Быкову, которые создали нетерпимую обстановку. Причина ясна: каждый из них в научном отношении весьма слаб, чтобы не сказать хуже, но почему-то именно они стали ближайшими советниками Украинцева. Поэтому я полагаю, что нужно принять решение об укреплении Института новым директором.

После меня выступил Федосеев. Отношение к Келле, сказал он, было ошибкой, а вот насчет самого Украинцева предпочел промолчать. Трапезников тоже занял сдержанную позицию, хотя именно он назначил Украинцева. Он сказал: «Товарищ Украинцев, может быть, Вы разъясните, почему член-корреспондент Ойзерман так резко выступает против Вас. Может быть, и Вы что-то предпринимали против него и здесь выиграла эмоция?». Украинцев ответил: «Нет, я никогда против него не выступал и считаю, что это его собственное мнение, которое я считаю ошибочным».

После этого, естественно, мы с Украинцевым долго даже не здоровались. Может быть, это мелочи, но обстановку, сложившуюся в Институте, они, по моему, характеризуют довольно наглядно.

Л.М. Мне ли этого не понимать? Я был активным участником тогдашних событий. В 1971 г. фактически затравили П.В. Копнина, и началась ожесточенная схватка за директорское кресло. В 1973 г. директором назначили академика Б.М. Кедрова, но он продержался всего лишь около года. Наступало время, удобное для погромов. 17-18 июня 1974 г. состоялось обсуждение «Вопросов философии» в АОН при ЦК КПСС, которое поставило точку в недолгом философском Ренессансе.

Успешно прошел X международный Гегелевский конгресс, в организации которого я, как заместитель директора, активно помогал Б.М. Кедрову. После его снятия и назначения Б.С. Украинцева в институте стали хозяйничать люди, которым я недавно ничего серьезнее, чем заведование транспортом и поддержание общественного порядка на конгрессе, поручить не решался. Вовсю шельмовали В.Ж. Келле⁸, Е.Г. Плимака, Ю.М. Бородая, подбирались к В.А. Лекторскому. Я решил уйти из института и стал оформлять длительную служебную командировку в США. По надуманному поводу партбюро, руководимое И.Г. Герасимовым, затеяло мое персональное дело. Я пошел к директору: «В Америку меня с взысканием не пустят. Но здесь с выговором я буду для Вас вреднее, чем в Вашингтоне без выговора». Получилось душевно и убедительно, и он дал команду дело мое замять. Через несколько месяцев я лицезрел статую почтенного старика с внимательным взглядом по имени Авраам Линкольн. Но это, как говорят американцы, уже другая story.

⁸ Подробнее я рассказал об этом в упомянутой беседе с В.А. Лекторским.

Что значило быть философом в СССР?

Я сказал так: «Теодор Ильич, у Вас за плечами и радостный, и тернистый путь. И, наверное, никто другой не сможет так осмысленно разобраться в проблеме, которая всех волнует: «Что значило быть философом в СССР». Он заметно оживился.

Т.О. Очень хорошо. Только поставим эту проблему в вопросительной форме, потому что мне сразу хочется ответить: «В советские времена не было и не могло быть философов. Были только пропагандисты философии марксизма, при этом, начиная с 1938 г. ее изучение превратилось в пропаганду философского параграфа «Краткого курса истории ВКП(б)», написанного Сталиным. Если бы появились настоящие философы, то есть, люди, которые излагают свои оригинальные воззрения, свои собственные взгляды, то, вероятно, они моментально исчезли бы с общественной арены».

Л.М. С этим трудно спорить. Ленин практически и надолго решил эту проблему, организовав в 1922 г. два «философских парохода» и несколько поездов. А конкретные судьбы мы уже упоминали. Вспомните Яна Стэна. Знал я и другого яркого философа, которого Вы называли – Бернарда Эммануиловича Быховского. В нем меня поразили удивительная эрудиция и интеллигентность, блестящий литературный стиль и в то же время готовность к «служению», едва ли не площадные выражения в адрес «буржуазных мракобесов» и «идеалистов всех мастей».

Т.О. Судьба этого, безусловно, незаурядного человека трагична. Он был троцкистом, но вовремя раскаялся. Один раз его, правда, исключили из партии, но вскоре восстановили, поскольку было известно, что он помог разоблачению троцкистов. Но спокойно заниматься наукой (он писал диссертацию о Декарте, потом занялся новейшей философией) ему не давали. То он работал в «Советской энциклопедии», раза два его привлекали в ИФЛИ, но вскоре увольняли. Вот он и был вынужден завоевывать «доверие». Помните, как громили кибернетику. Одним автором был философствующий психолог В.Н. Колбановский, опубликовавший в «Вопросах философии» разносную статью под псевдонимом «материалист». Для него это прошло незаметно. Быховский же шельмовал кибернетику в «Литературной газете» под собственным именем, угробив тем самым свою репутацию. Могу лишь представить себе переживания этого порядочного человека. Нечто похожее случилось с М.М. Розенталем и П.Ф. Юдиным, включившими разносную статью о кибернетике в свой «Краткий философский словарь». Розенталь даже не мог баллотироваться в Академию наук, хотя по своему положению и знаниям мог вполне рассчитывать, по меньшей мере, на члена-корреспондента.

Никогда не забуду последнюю встречу с Э.В. Ильенковым. Он был крайне встревожен и сказал, что нужно что-то делать, иначе всем нам конец, поскольку Украинцев оказался близким другом Брежнева. Я пытался как можно успокоить его, уверяя, что это чепуха: в таком случае Украинцев был бы не директором академического института, а секретарем ЦК. Другое дело, что его поддерживает СП. Трапезников. Но он меня не слушал и продолжал пить виски. Я положил его на диван, он проспал часа полтора и вскоре ушел. А на следующий день я узнал, что он покончил с собой. А смерть М.К. Мамардашвили в «накопителе» Внуковского аэропорта!

Правда, помимо пропаганды философии марксизма, существовала одна область, где можно было так или иначе высказывать собственные взгляды. Это история философии, и наряду с пропагандистами диалектического материализма были преподаватели, которые занимались историей философии. Даже Г.Ф. Александров, который стремился быть партийным, государственным деятелем, занимался историей философии, преимущественно античной, хотя его знания на этот счет были довольно скудными. Поэтому самые заметные люди в философии того времени – это историки философии. Наиболее выдающимся среди них был, конечно, В.Ф. Асмус. Но Вы знаете, как его травил люди типа В.И. Черкесова и П.И. Никитина. Я бы еще упомянул О.В. Трахтенберга, а из молодых – А.С. Богомолва.

Л.М. Но эта автономия была весьма условной. История философии, как гласила формула Жданова – это история развития материализма и его борьбы с идеализмом. Так что ядром, стержнем философии провозглашался диамат в «краткой» сталинской редакции, а все другие дисциплины должны были лишь конкретно иллюстрировать его формулировки, соотносить с ними свои оценки всех явлений культуры. Это как у Оруэлла: «Кто владеет настоящим, тот владеет и прошлым».

Т.О. Да, так и было. Причем некоторые формулировки я не мог толком объяснить. Почему, спрашивал я, первая черта материализма – первичность материи, а вторая черта, в противоположность идеализму – познаваемость мира. То есть, идеализм прямо отождествлялся с агностицизмом, что граничило с невежеством. Открыто критиковать это я не мог, а лишь старался найти более гибкое толкование: первая черта противопоставляет материализм идеализму в целом, а вторая – противопоставляет материализм агностической форме идеализма, а не идеализму вообще. Однако многие ведущие историки философии отказывались принимать и эту вполне безобидную интерпретацию и продолжали твердить: все идеалисты – агностики.

Однажды дело дошло до публичной полемики. В АОН при ЦК КПСС, где Александров заведовал кафедрой, защищалась диссертация «Критика идеализма как агностицизма». Я был официальным оппонентом и, не желая проваливать соискателя, в общем положительно оценил работу, но сказал, что агностицизм можно рассматривать лишь как разновидность идеализма, или, следуя Энгельсу, как некоторый примитивный материализм. Тотчас же члены ученого совета О.В. Трахтенберг и М.А. Дынник сочли необходимым выступить с решительным опровержением, а председательствующий Г.Ф. Александров – демонстративно их поддержать. Уже после защиты Александров, с которым мы были в добрых отношениях, пригласил меня в ресторан и разоткровенничался: «Я хотел Вас взять к себе на кафедру, но теперь вижу, что Вы несколько загибаете и недостаточно принципиальны. Знаете ли Вы, что у нас за такие вещи сразу бы привлекли к партийной ответственности? А тут мы по-товарищески Вас поправили и этим дело завершено».

Л.М. Что ж, согласен признать, что помимо злого ангела З.Я. Белецкого у Вас был и добрый – Г.Ф. Александров, который в меру отведенной ему профессиональной принципиальности и на этот раз отвел беду. Напрашивается следующий вопрос. Позади у Вас несметное число книг, статей, выступлений. Каков был тот мотив, пафос, который заставлял Вас так лихорадочно работать, и что сегодня, оглядываясь назад, представляется наиболее ценным, новаторским, сделанным именно Вами?

Т.О. Лихорадочно работать заставляло прежде всего желание писать. Возможно, это была почти графоманская страсть. Я мог писать, как минимум, четверть листа в день, а то и половину. Это доставляло мне неизъяснимое наслаждение, может быть, потому, что у меня не было других пристрастий, кроме, пожалуй, некоторого увлечения прекрасным полом да хорошей выпивкой. А желание писать я испытывал с самых ранних лет. Еще в четвертом классе меня потряс ледоход на Днепре, и я написал на эту тему сочинение. И учитель русского языка и литературы прочел его перед классом и похвалил как очень хороший очерк. А еще раньше я сочинил роман «Путешествие капитана Ганея» – детское подражание Майн Рида и Жюльо Верну – и послал в издательство, кажется, Мериманова, откуда пришел вежливый, но, конечно, отрицательный ответ. Думаю, они и не подозревали, что автор – 12-летний школьник. О своих последующих литературных усилиях я уже рассказывал.

Что же касается философии, то вначале это было желание осмыслить Маркса, что и выразилось в том курсе, который был мне поручен. Однако, вжившись в него, я почувствовал, что начинаю ясно понимать, как и из чего возник марксизм, и даже вижу отдельные заблуждения Маркса и Энгельса и некоторые взгляды, от которых они отказались. Это осмысление марксизма, начиная с ранних работ, представлялось мне крайне важным, тем более, что никто у нас, за редким исключением, этим не занимался. Например, была статья старого большевика Познера, в которой он утверждал, что в докторской диссертации Маркса проступают основные черты ма-

териализма. Конечно, это явная натяжка. Да не он один. Даже такой выдающийся философ-марксист, как Луи Альтюссер, писал, что уже в «Экономическо-философских рукописях 1844 года» пунктиром намечены основные проблемы «Капитала». Между тем, никакой речи в них о прибавочной стоимости, конечно, не шло. Так что я определенно чувствовал себя новатором.

Позже меня увлек более амбициозный замысел: создать цельную теорию историко-философского процесса, попытавшись объяснить и оценить факт, который меня давно удивлял: почему всегда существовало и существует поныне множество философских учений. Такой, по выражению Дильтея, «анархии систем» в истории науки не наблюдается. Если там существуют разные теории, то в ходе развития они постепенно сближаются или поглощаются и становятся элементом более обоснованной и общей теории.

У нас этой темой никто не занимался. Только во Франции существует «Философия истории философии», которую я внимательно изучал и часто цитировал. Кстати, ее главный представитель Марсель Геру выступал на конгрессе в Вене (1968), где я с ним и познакомился. Он, конечно, был убежденный идеалист, как он говорил, «радикальный идеалист», и рассматривал каждую систему философии как вечный самодостаточный памятник, не подлежащий никакой доработке и развитию. Я же стремился осмыслить историко-философский процесс с позиций диалектического материализма.

Эту тему я начал разрабатывать в монографиях «Проблемы историко-философской науки» (1969) и «Главные философские направления» (1971), затем в плановой работе «Основы теории историко-философского процесса», к которой привлек А.С. Богомолова, работавшего в Институте философии на полставки. Ему принадлежит историко-философская часть, а мне теоретическая, составившая две трети книги. И, наконец, завершением стала книга «Философия как история философии» (1999), в которой я сформулировал позицию, которой придерживаюсь и сейчас. Я шел к ней трудным путем, потому что предстояло шаг за шагом не только преодолеть прежние взгляды, но и предложить цельную «позитивную» систему.

В первой монографии я стремился как можно более достоверно представить мозаичную и постоянно меняющуюся картину мировой философской мысли. Однако, еще находясь в плену расхожих марксистских штампов, я старался доказать, что такое множество носит преходящий характер и в конечном развитии увенчивается научной философской системой, каковой является диалектический материализм.

Во второй книге я попытался с исторической точки зрения проанализировать различные типы взаимоотношений, полемики и связей отдельных философских течений, начиная с античности. Поэтому я считал необходимым уделить особое внимание основному вопросу философии, что, как я сейчас понимаю, испортило книгу, обеднило содержание и пафос многих оригинальных идеалистических учений и идей. Что в ней сделано неплохо, так это картина драматического становления философского знания.

Я рассматривал историко-философский процесс как процесс дифференциации (например, Фалес, Анаксимен, Анаксимандр), далее, дивергенции (Гераклит, элеаты), поляризации (Демокрит и Платон), радикальной поляризации – это уже четкое выступление противоположности главных направлений (скажем, материализма и идеализма, рационализма и иррационализма, рационализма и эмпиризма и т.д.). Наконец, последний – этап синтеза идей. Эту последовательность я и пытался проследить на примере немецкой классической философии. Такова была ключевая мысль, идея фикс моей философии философии.

Однако с годами она претерпела существенные изменения, что четко выражено в монографии «Философия как история философии», на которую, как помню, Вы откликнулись весьма благожелательной рецензией. Это прежде всего категорический отказ от прежнего убеждения в том, что многообразие философских школ – это

исторически временное, преходящее состояние, свидетельство незрелости и слабости философской мысли. Напротив, показываю я, каждая философская концепция содержательна, в ней обычно имеются знания, которые по тем или иным причинам отсутствуют в марксизме. Следовательно, последний нужно рассматривать не как вершину философии, а лишь как одну (хотя и весьма влиятельную) из систем философии. Что же касается неопределенного множества учений, то это достоинство философии, а вовсе не недостаток и слабость, как думали мы, в том числе и все великие философы прошлого, которые пытались преодолеть плюрализм философских течений и, наконец, создать учение, которое останется на века и которое нужно будет только развивать, дополнять, но никак не изменять. Таким образом, каждое новое учение лишь обогащает проблематику философии и тем самым делает ее более содержательной.

Л.М. Мне близки Ваши рассуждения, может быть потому, что я знаком с проблематикой теологии. Как известно, многие поколения людей бились над решением «проклятых», «вечных», так называемых экзистенциальных вопросов: о смысле жизни, о предназначении человека и т.д. «Вечными» их именуют потому, что они не поддаются окончательному, годному на все времена решению. Однако часто забывают другую существенную сторону: каждое поколение обречено на их «положительное» решение именно в окончательной форме, на что и претендует религия.

Если мы посмотрим на историю теологии, то увидим, что ее нерв составляют одни и те же проблемы: соотношение божественного предопределения и человеческой свободы, природа греха, теодицея и т.д. Проследите, например, полемику Августина против Пелагия (V век), Эразма против Лютера (XVI век), Нибура против Раушенбуша (XX век), и вы увидите поразительное сходство не только принципиальных позиций, но и основных аргументов. Но это не эпигонство, не механическое повторение. Каждый раз учитывается специфика духовной жизни времени, его язык, состояние общества в целом. Тем самым достигается непрерывное обогащение теологической мысли, все более глубокое проникновение в тайны человеческого бытия. Примером могут служить хотя бы воззрения К. Барта, Р. Бульмана, П. Тиллиха, Р. Нибура, Д. Бонхёффера и т.д.

Принципиально сходный процесс наблюдается и в истории философии. Воспроизводятся не только ключевые проблемы, но и наиболее авторитетные их решения. Например, учения Платона, Аристотеля, Канта, Гегеля, даже Маркса (различные варианты неомарксизма), но уже в иной, в обогащенной временем форме. И, конечно, историк философии не может пройти мимо вопроса: почему, например, неокантианство уже в наше время стало весьма влиятельной школой?

Т.О. Неокантианство возникло прежде всего под лозунгом «Назад к Канту!», поскольку Кант в какой-то мере оказался забытым. И тогда в 1865 г. О. Либман выступил с книгой «Кант и эпигоны». Эпигонами он считал Фихте, Шеллинга и Гегеля. Это движение к Канту, естественно, распалось на две школы. Для одной (Марбургской) исходным пунктом послужила «Критика чистого разума», то есть проблема собственно теории познания. Для другой (Баденской) – «Критика практического разума», то есть проблема этики как метафизики – как учение о ценностях, которые понимались как нечто имеющее значение, но не обязательно существующее.

Л.М. Однако право на жизнь неокантианство получило не за свое эпигонство, ученическую реставрацию, а за те новые идеи и решения, которые оно внесло в обсуждение этих проблем.

Т.О. Думаю, что каждое из этих течений много сделало для развития философии. Так, например, в работах Канта, посвященных этике, не до конца ясным оставался вопрос, реально ли существует тот самый постулат, исходя из которого Кант приходил к выводу о необходимости признания Бога, бессмертия души и т.д. Между тем, как говорил сам Кант, нет такого человека, который действовал бы, исходя лишь из категорического императива. Ведь человек чувственное существо, а категорический императив предполагает чистый разум, свободный от чувственных побуждений,

что для живого индивида невозможно. Следовательно, категорический императив – не факт, а долженствование. Вот исходя из этого неокантианцы, прежде всего Риккерт, и развивали свое учение о ценностях, которое дальнейшее развитие получило у Гуссерля как учение о смыслах: ценности не есть то, что существует, а то, что имеет значение.

Мне представляется, что эта точка зрения открывает широкий горизонт для понимания жизни, потому что наше поведение и наше мышление определяет не только то, что существует, но и то, что реально не существует, но имеет значение. Пусть это будет древний миф, несбыточная утопия или какое-то иллюзорное религиозное представление – все они имеют значение. Кстати, и в светской жизни сплошь и рядом значение имеет то, что люди думают о власти и чего в действительности нет.

Что же касается Марбургской школы, то она создала метафизику природы, которая у Канта была только едва намечена. О ней мы могли судить лишь по небольшой работе «Метафизические начала естествознания» и по отдельным замечаниям в «Критике чистого разума». Поэтому неокантианство, хотя и исчерпало себя примерно в первой четверти прошлого века (Й. Бохенский говорит даже слишком точно: к 1925 г.), несомненно, оказало большое влияние и на Гуссерля, и на Шелера, и на Хайдеггера. Кстати, учителем последнего был не кто иной, как Генрих Риккерт. Вот так, путем очень сложной преемственности и осуществляется прогресс в философии.

Л.М. Каков тогда на Ваш взгляд общий уровень современной философии, скажем, в сопоставлении с прежними влиятельными школами и мыслителями? Не возникает ли ощущения, что классическая проблематика постепенно растворяется? По пальцам можно пересчитать и имена властителей философских дум калибра Дьюи, Рассела, Хайдеггера, Сартра. Господствует модернизм, неомодернизм, такие философы, как М. Фуко, Ж. Деррида, Р. Барт, которые все же работают в стороне от традиционного главного потока.

Т.О. Мне представляется, что перечисленные Вами философы, как и вся структуралистская школа, родились не в лоне философии и не в связи с философией. Это скорее был метод анализа художественных произведений, а также антропологии, что наиболее ярко выражено у К. Леви-Строса и Р. Барта. Здесь я собственно классической проблематики не вижу. Она сохранилась сегодня в критическом рационализме, например, у К. Поппера и его продолжателей. Причем последние – вполне самостоятельные мыслители, которые критикуют Поппера, прежде всего его принцип фальсификации. Я бы сказал, что то, что называется постмодернизмом, надо скорее связывать с ними, с П. Рикером, с Ю. Хабермасом, а не с Ж. Дерридой и Р. Бартом, которые пытаются найти философскую проблематику за околицей собственно философии. А если такие проблемы вас не волнуют, то и их философское толкование оказывается неинтересным. Напомню, кстати, что основоположниками того, что позже стало называться структуралистским методом, были Б. Эйхенбаум, Р. Якобсон, позже Ю. Лотман. Но все-таки это не философия, для которой, я убежден, главная проблема – это проблема свободы. А ею, к сожалению, всерьез мало кто занимается.

Если же говорить о современном состоянии историко-философских исследований, то оно внушает оптимизм. Я приветствую, например, переход от классической гносеологии к постклассической эпистемологии. То есть к пониманию процесса познания как культурно-исторического феномена. В этой связи возникло очень много вопросов, которые неплохо описаны у В.С. Стёпина, В.С. Швырева, В.А. Лекторского, да и у других авторов. Возникла, например, проблема отношения научного и вненаучного знания, причем вненаучное знание понимается не как антинаучное, а, напротив, как широкая сфера знания, которое по своему объему даже превосходит сферу научного знания, ибо включает все то, что человек знает из собственного повседневного опыта: что вы знаете о своих близких, о том, что видите, слышите, как воспринимаете мир, что, наконец, знает ребенок, овладевая живой человеческой ре-

чью. Художественная литература – богатейшее, многогранное знание жизни, но это, конечно, не научное знание.

В то же время этот культурно-исторический контекст познания дает возможность глубже понять относительность каждой ступени достигнутого познания и подводит к мысли, которой нет у Канта, но может быть из него выведена: мир в равной мере и познаваем и непознаваем. Это вытекает уже из того, что мы всегда познаем только какую-то часть целого, следовательно, не можем исчерпывающе судить о ней, поскольку не знаем целого. Следовательно, наши суждения об этой части неизбежно оказываются фрагментарными, отрывочными, какой бы законченный характер ни приобретала та или иная теория. Это направление в теории познания мне представляется наиболее сильным аргументом против сциентизма, против превращения науки в икону, что ли.

В отличие от недавних лет нам стал доступен весь современный мировой философский акvizит, и мы можем свободно писать о наших современниках, причем не в стиле Б.Э. Быховского, который был вынужден воинственно размахивать саблей, а признавая в них коллег, у которых есть чему поучиться, с которыми можно как спорить, так и соглашаться, будет ли это У. Куайн или Р. Рорти, тот же К. Поппер или И. Лакатос, даже экзистенциалисты, которые открыто противопоставляют свои учения науке. Одним словом, в осмыслении новейших этапов развития философии в минувшие 10 – 20 лет сделано немало.

Если говорить об изучении классической философии, того же Канта, Гегеля и т.д., то здесь опубликован ряд добросовестных трудов о ее связи с отечественной философией. Так, следует отметить издание ряда основных работ Канта на двух языках, осуществляемое Н.В. Мотрошиловой вместе с немецким профессором Тушлингом. Но это лишь начало, и еще многое предстоит сделать для нового прочтения классиков философии, в том числе и Платона, и Аристотеля, ибо то, что писал о них, например А.Ф. Лосев, было проникнуто его собственной концепцией, и его рассуждения, например, о материализме Платона мне представляются не самой удачной попыткой приблизить Платона к нашему времени. Ценность Платона именно в его идеализме, к которому надо относиться – и это уже делается – с большим почтением, как к достаточно серьезной и аргументированной теории, у которой многому можно поучиться.

Л.М. Что же тогда составляет основной вопрос философии? Может быть, отношение к его прежнему советскому пониманию?

Т.О. То, что сказал Энгельс об отношении материи и сознания, можно считать одним из основных вопросов философии, но вовсе не единственным. Я не могу применить это, скажем, к Шеллингу, который прямо пишет, что высший и основной философский вопрос – это вопрос об отношении свободы и необходимости. И смысл его философии, как и философии Фихте и во многом Гегеля, состоит в решении именно проблемы свободы и необходимости. Вопрос об отношении мышления и материи был основным скорее для материалистов, которые особо подчеркивали, что наши чувства, наше мышление – продукт физиологической организации человека. Вспомните Ламетри, Гольбаха, да и более ранние учения. Для идеалиста, который всегда рассматривает материю как внешнюю оболочку чего-то другого, как акциденцию, это взаимоотношение не представлялось столь важным.

Л.М. Но все-таки Гегель, например, четко выделял «линию материалистов».

Т.О. Да, он неоднократно употребляет термин «материалист», как, впрочем, и Кант, и Христиан Вольф. Но когда он говорит о материалистах, то скорее ради конкретных замечаний, а не с целью обсуждения вопроса о том, что первично, а что вторично. Так, он даже с похвалой отзывается о французских материалистах, поскольку находит у них протест против разложившегося феодального строя и критику ложного, по его мнению, католицизма, Возьмите того же Платона. Разве у него есть постановка вопроса о том, что материя вторична? Этот вывод можно сделать, читая Платона, но его интересуют совсем другие проблемы. Да и Энгельс, надо от-

дать ему должное, говорит об «основном вопросе, в особенности философии Нового времени». То есть он не прямо относит его к античной и средневековой философии. Причем в достаточно осторожной формулировке: «вопрос отношения материи и сознания, или бытия и мышления». Но «бытие и мышление» – это не обязательно «материя и сознание». Скажем, для упомянутого Шеллинга бытие, конечно, первично, но оно для него духовно.

Поэтому сама идея «основного вопроса философии» – это несомненное сужение поля метафизического дискурса. Вероятно, то, как понимает философию Аристотель, есть прежде всего его понимание собственной философии, то, как понимает философию Платон, есть платонистское понимание философии. Короче говоря, философы не согласны между собой не только в вопросе о том или другом предмете, но и в том, что такое философия. Поэтому нет оснований полагать, будто имеется неперменный пункт, «основной вопрос философии», в котором они расходятся. Тем более, когда наши коллеги, к примеру, П.В. Копнин, человек, несомненно, талантливый, писали, что основным вопросом философии есть предмет философии, они явно обедняли содержание философии. Предмет философии фактически разный. Для Сартра или Хайдеггера, например, – это внутренняя жизнь человека, экзистенция. Так что марксистская концепция основного вопроса философии весьма догматична и, конечно, подлежит ревизии. А мы даже еще усугубили то, что Энгельс сказал в более или менее осторожной форме.

Л.М. Только что вышла Ваша новая монография «Марксизм и утопизм», которая едва ли не шокировала многих коллег. Об этом позже. А пока объясните, пожалуйста, почему Вы избрали именно такую тему?

Т.О. Это закономерный и, по-моему, естественный результат переосмысления традиционных представлений не только о марксизме, но и о предмете философии, о ее месте в системе культуры, в частности, взаимоотношении с наукой, что предполагало и пересмотр значения ненаучных форм знания, в том числе и утопии. В новой книге я рассматриваю утопическое как перманентное содержание мышления, перманентное и в оценке прошлого и тем более в попытке предвидеть будущее. С моей точки зрения, предвидение более или менее отдаленного будущего человечества принципиально невозможно. Оно невозможно потому, что в любом рациональном действии имеются такие элементы, которые оказываются незапланируемыми, непредвидимыми, стихийными. Эти непредвиденные последствия сознательных действий, в свою очередь, порождают еще более непредвиденные последствия. И так идет дальше и дальше, в конечном итоге мы получаем цепь непредвиденного, которая порождает непредвиденное.

Поэтому фактически любое предвидение, которое имеет какую-то познавательную ценность, основано на экстраполяции того, что уже имеется, на ближайшее будущее. Если речь идет о ближайшем будущем, это в большей или меньшей мере оправдывается. Если о далеком, то здесь избавиться от утопизма уже невозможно. Кстати, это признавал и Энгельс. Поэтому я рассматриваю утопизм в марксизме не просто как сугубо отрицательную черту, а как неизбежную и в этом смысле поучительную. И когда Ленин говорит, что утопизм – это сказка, это небыль, это неверно, потому что в утопизме содержится даже нечто великое. Если бы не было утопии, говорил Анатолий Франс в одной из своих лекций, то люди по-прежнему жили бы в пещерах.

Но Маркс и Энгельс не только не смогли преодолеть утопий своих предшественников, например, идеи бестоварного, безденежного общества, но еще добавили новые, например, диктатуру пролетариата, не задумываясь о том, что никогда в истории диктатура не была диктатурой целого класса. Одна из причин этого в том, что они не до конца разграничивали понятия «политическое господство» и «диктатура». Политическое господство класса – понятие очень широкое. Можно сказать, что капитализм – это политическое господство буржуазии, но это не обязательно диктатура, и когда Ленин говорил, что самая демократическая буржуазная республика в ко-

нечном счете является диктатурой, он, конечно, заблуждался, стремясь оправдать тот тип власти, который стремился создать. Ошибался он и тогда, когда заявлял, что государство немислимо без диктатуры. По Ленину, диктатура есть власть, опирающаяся не на закон, а на насилие. Но после Октябрьской революции он настойчиво требовал соблюдать государственные законы: не может быть законности Калужской, Казанской, есть только одна всероссийская законность, за малейшее отступление от которой нужно наказывать. Но имелись в виду опять-таки диктаторские законы.

Л.М. В связи с Вашей последней книгой я нередко слышу: Ойзерман отрекается, едва ли не предает Маркса. Вы действительно не раз говорили об его отдельных просчетах, неточных, а то и ошибочных высказываниях. Но Маркс – слишком крупная фигура, чтобы они определили его место в истории. Поэтому хотелось бы услышать Вашу общую, так сказать, итоговую оценку теории марксизма, в том числе и философии Маркса.

Т.О. Я всегда полагал, что Маркс – величайший социальный мыслитель, можно сказать, всех времен и народов. Мне неизвестен никто другой, кого можно было бы поставить на один с ним уровень. В то же время, на мой взгляд, он совершил немало ошибок, и многие из них были неизбежны. Дело в том, что он стал социалистом задолго до того, как разработал свое экономическое и вообще социальное учение. Так что его убеждение о неизбежности смены капитализма социализмом было желательным убеждением, в сущности, верой, которую он разделял вместе с другими социалистами.

Позже он попытался эту веру обосновать. Но строго говоря, экономического обоснования социализма Маркс не дал и дать не мог. Он и сам писал, что цель «Капитала» – исследовать законы современного, то есть капиталистического общества, и он это сделал блестяще. О социализме же в первом томе имеются лишь беглые упоминания. Поэтому утверждение Ленина, будто Маркс экономически доказал неизбежность социализма, не соответствует действительности. Ни Маркс, ни Энгельс и никто другой не могли доказать, что социализм есть единственно возможная альтернатива капитализму. Вообще альтернатива не существует в единственном числе. И до Маркса социалисты были убеждены, что капитализм – преходящий общественный строй. С некоторыми оговорками можно сказать, что Маркс сумел это обосновать научно. А вот то, что капитализм сменится именно социализмом (причем в той форме, о которой у него, а чаще у Энгельса, высказаны лишь отдельные замечания), у него нигде не доказано.

Единственная тенденция, которая, как ему казалось, подтверждала такую убежденность, был процесс обобществления средств производства, которое происходит при капитализме, то есть концентрация и централизация капитала. Но последующее развитие показало, что средние слои отнюдь не исчезают, что мелкое и среднее производство способно возрождаться даже в интересах крупного капитала. И это нормальное развитие капитализма, чего Маркс, конечно, предвидеть не мог. Это главное заблуждение неизбежно сказывалось и на его более детальных соображениях о будущем обществе.

Теперь относительно моей общей оценки марксистской философии. Я по-прежнему стою на позиции материалистического понимания истории, за исключением концепции базиса и надстройки, которую я отвергаю, поскольку она противоречит положению о том, что общественное сознание отражает общественное бытие. В самом деле, из разделения «базиса» и «надстройки» неизбежно следует, что художественные, философские, моральные и прочие взгляды отражают не общественное бытие, а лишь экономические отношения. Здесь я усматриваю явное внутреннее несогласие. Что же касается диалектического материализма, то я вполне принимаю его как учение о диалектическом процессе, правда, очень неразработанное. Но самым решительным образом отвергаю и раньше отвергал существование одних и тех же

общих законов для природы, общества и мышления – а к этому сводилась диалектика Гегеля, и это осталось у Энгельса.

Уже в 1948 г. я писал, что законы диалектики – не что иное, как обобщенные представления о тех законах, которые открывают физика, химия и другие науки, о законах, которые неполно отражают действительность и далеко не всегда являются законами развития. Там я, конечно, не говорю, что нет законов диалектики. А в 1982 г. на совещании по диамату, организованном журналом «Вопросы философии», я совершенно четко сформулировал свою точку зрения: Мне представляется в высшей степени важным правильное понимание статуса «законов диалектики». Некоторые исследователи склонны их трактовать как особый, верховный класс законов, которым подчиняются «простые», открываемые специальными науками законы. Такой иерархии законов в действительности не существует. Допущение такого рода субординации означало бы возрождение традиционного противопоставления философии нефилософскому исследованию, столь характерного для идеалистического философствования». Но на меня все равно ополчился Н.В. Пилипенко из ЦК, и я вынужден был даже написать статью «О всеобщности законов диалектики», где фактически проводил ту же мысль, но, так сказать, в завуалированной форме.

Я не специалист по политэкономии и хотел бы воздержаться от однозначной оценки экономического учения Маркса. Но я думаю, что здесь много неверного, и не только в смысле политических выводов, скажем, относительно прогрессирующего обнищания пролетариата, но и, к примеру, закона – тенденции нормы прибыли к снижению. Меня также смущает утверждение Маркса о том, что стоимость товара определяется количеством общественно-необходимого рабочего времени. Значит, стоимость товара должна постоянно уменьшаться. Почему же цена его увеличивается? Кроме того, у Маркса в его подготовительных работах к «Капиталу» имеются положения, явно противоречащие этому тезису. Так, он заявляет, что благодаря развитию науки и превращению ее в непосредственную производительную силу производимое богатство становится независимым от количества затраченных рабочих часов.

Л.М. Теперь заключительный вопрос. За минувшие годы Вы основательно пересмотрели свои прежние представления о марксизме как высшей форме философского учения. Специфика философии, ее богатство заключается в наличии и необходимости различных течений – таков лейтмотив Ваших последних работ, да и сегодняшней беседы. Вот меня и интересует, каковы исходные причины такой эволюции. То ли это выявление каких-то проблем, которые не решались философией марксизма, либо решались неглубоко, поверхностно, то ли непосредственное знакомство с учениями, содержащими неожиданные, но здравые соображения, то ли, наконец, быстрый крах тоталитарного строя, находившего псевдонаучное оправдание в монолите диаматовской схемы. Ведь Вы не могли не видеть, что многие философские течения, претендовавшие на беспристрастные поиски истины, в конечном счете отражали различные идеологические интересы. Может быть, Вам каким-то образом удалось перескочить на некую метафилософскую орбиту?

Т.О. Я бы сказал, что в своих предположениях Вы верно указали на основные причины. Но я постараюсь ответить более конкретно, поскольку это факт моей биографии. Думаю, что к переоценке марксизма меня в первую очередь привело то обстоятельство, что я прежде всего историк философии. И как таковой я не мог просто изучать экзистенциализм или структурализм, даже классические учения, как чуждый, враждебный им человек. И именно восприятие этих далеких от марксизма, а чаще ему противостоящих учений шаг за шагом приводило меня к мысли, что если марксизм не может ничего почерпнуть из этих учений, отвергая их с порога, то он тем самым закрывает путь к собственному развитию, обрекает себя на превращение в систему утопических догм. Но я не хочу преувеличивать значение моего внутреннего развития. Мощным ферментом стал крутой перелом, который недавно совершился в отечественной истории. Так постепенно я и пришел к убеждению, что не су-

существует никакого общеобязательного определения понятия философии, не существует закрытого фонда общепринятых философских истин.

Как я уже говорил, для меня бесспорна плодотворность такого типа развития, которое можно назвать плюрализацией философских идей, плюрализацией, которая не исключает также их синтеза; и этот синтез есть механизм возникновения новой системы взглядов. Лишь наш язык ограничивает возможность возникновения новых философских систем. Но поскольку язык сам находится в процессе развития и обогащения, то всегда сохраняется возможность появления новых философских учений. Взяв любое новое философское учение, нетрудно проследить его предшественников и то, что оно взяло от них. Так, учение того же Поппера возникло из позитивизма, но это возникновение из противоположности, которую сами позитивисты не заметили. Рудольф Карнап написал вполне положительную рецензию на книгу Поппера, вышедшую, кажется, в 1934 г., не заметив, что он отвергает как раз то, что доказывал сам Карнап.

Кстати сказать, я даже думаю, что идея плюрализма философских систем в какой-то мере может быть применена, но, конечно, в ограниченном, частичном варианте и к развитию научного знания, в котором тоже существует скрытая, латентная конфронтация, которая кажется преодоленной, а потом, на следующем этапе оказывается, что прежняя теория сменяется новой, более полной и иногда отрицающей свою предшественницу.

Л.М. Здесь, однако, напрашивается одно, если не возражение, то замечание. Согласимся: у каждого человека своя философия, зависящая от него, от эпохи и т.д. Но не стирается ли тогда грань между профессиональным и, так сказать, обывательским философствованием, между профессиональным философом и просто мыслящим человеком, имеющим какой-то взгляд на мир и решающим для себя сугубо личные, экзистенциальные проблемы?

Т.О. Согласен, мировоззрение свойственно не только философам, но и ученым, и мыслящим людям. Скажем, М. Планк, чистый естествоиспытатель, замечает, что мировоззрение участвует в определении программы исследования; Гильберт говорит о математическом мировоззрении и он по-своему прав: математика – это особый тип мышления и понимания мира. В конце концов, религия – тоже своеобразная философия мира, которую, правда, люди обычно воспринимают не как результат собственного постижения, а по традиции, в результате воспитания и т.д. Так что каждый мыслящий человек – по-своему философ. Но в том-то и дело, что история философии – это история не философских идей или простых высказываний, а история, все-таки, больших систем. И когда мы берем даже самый обстоятельный учебник философии, скажем, 14-томный учебник И. Юбервега, то мы видим, что из необозримого множества философов он выделяет только тех, которые создали значительные системы. И таких насчитывается, увы, не так уж много. В этом смысле философов было тысячи, но людей, создавших системы – лишь десятки. И только эти десятки, собственно, составляют предмет истории философии. Показательно, например, что, говоря о французском материализме, мы очень скупо выделяем специфику воззрений Ламетри, Гольбаха, Гельвеция, Дидро, хотя они активно полемизировали друг с другом. Все-таки это была полемика единомышленников, и в этом смысле они едины. В моей терминологии это только дифференциация внутри одного и того же учения, а не дивергенция. Надеюсь, что в монографии «Оправдание ревизионизма», над которой я сейчас работаю, мне удастся убедительнее выразить свои раздумья последних десятилетий и ответить на недоуменные вопросы, с которыми ко мне часто обращаются коллеги.

P.S. Пришло время отложить в сторону магнитофон и попробовать взглянуть на нашу беседу с Т.И. Ойзерманом несколько со стороны. Конечно, немало занятых, да-

же значительных эпизодов пришлось опустить. Но я и не собирался проследивать биографию юбиляра, равно как и детально останавливаться на всей его исследовательской и педагогической деятельности: многочисленных историко-философских работах, публикациях по теории познания и социальной философии, участии в многочисленных зарубежных конгрессах и встречах.

Мой замысел был иным. Мне тоже довелось знать многих ведущих философов советских времен, и я имею свои представления о том поле, на котором разворачивалась их деятельность, – перепаханном вдоль и поперек, с кривыми окопами, колючей проволокой, доносчиками и номенклатурными надзирателями, о поломанных судьбах и братских могилах с забытыми именами. И когда я думаю о мучительных переживаниях тысяч и тысяч порядочных и талантливых людей, то невольно вспоминаю слова, незадолго до своей кончины написанные известным экономистом-международником Я.А. Певзнером (1914 г.р.), с которым я познакомился в «Узком»: «Да, мне удалось избежать настоящего ГУЛАГА, но только потому, что я был узником ГУЛАГА духовного. Процентом 20-30 того, что я писал в книгах и статьях, было правдой (не зря меня клеймили в «Правде»). Но эту правду я мог давать только потому, что обрамлял ее ложью. Одновременно я делал записи. Я их тщательно скрывал. Теперь я понимаю, что и там, в своих заметках, не всегда писал правду. Я лгал самому себе. Были диссиденты, были умственные рабы, и были люди, державшие кукиш в кармане. Я, вероятно, отношусь к последним. Но ведь мы были... И, вероятно, нас было большинство. И если кто-то захочет заглянуть в нашу эпоху – не может забыть и о нас»¹⁰. Но при всех потерях, арестах, репрессиях ростки творческого знания все же пробивались через асфальтовый пресс, и отечественная философская мысль оставалась живой, добивалась выдающихся результатов, без которых сегодня она выглядела бы жалкой.

Существовали разные пути, на которых свободолюбивые мыслители пытались вырваться из мертвящих объятий партийного догматизма. Одни уходили в далекую античность или средневековье, куда еще не добрались идеологические соглядатаи, другие прорывались чужими огородами, «критически» оценивая западные доктрины, третьи пытались реализовать свои творческие потенции вне лона философии: в структурализме, лингвистике, литературоведении, культурологии. Были, наконец, и такие, кто, отчаявшись, искал спасения внутри церковной ограды.

Т.И. Ойзерман был одним из немногих, кто пытался отстоять профессиональное достоинство в русле философии в ее классической, веками складывавшейся тематике. И уверен, что ему это во многом удалось. Я не настолько наивен, чтобы впасть в морализирование о «смелости» и «принципиальности», или, напротив, «трусости» и «коварстве» отдельных персонажей, хотя бездарных прохвостов и мрачных лицемеров в нашем сюжете встретилось достаточно. Я предпочитаю исходить из реальности. А она такова, что Т.И. Ойзерману (конечно, не без досадных потерь) во многом удалось добиться своих целей. Тогда вынужден признаться: торжественный юбилей Т.И. Ойзермана я воспринял как стимул к тому, чтобы постараться разобраться, как это могло получиться, и тем самым, сказав о действительных, а не просто календарных заслугах нашего патриарха, достойно отметить и его 90-летие.

Перед нами промелькнули многие события – одни всесоюзного масштаба, другие – сугубо личного, не только трагические, но и комические. Но самое удивительное в том, что каждый раз на кону стоял главный принципиальный вопрос: какой быть отечественной философии. Суть деятельности звездной пары Митин – Белецкий сводилась к тому, чтобы на основе не только расслышанных, но и заранее угаданных

¹⁰ Певзнер Я.А. От великой экономической контрреволюции к прагматическому социализму // Наша школа. 2002. № 5. С. 26.

¹¹ Об этом убедительно рассказано в упомянутом двухтомном сборнике «Философия не кончается...». М., 1998.

подсказок усатого суфлера доказать, что советской философии не только не нужны, но и враждебны мысли, положения, нюансы, которые отсутствуют в речах кремлевского хозяина. Об этом речь шла и во времена разгона деборинцев, арестов в 30-е годы, обсуждения книги Александрова, защиты докторской диссертации Ойзермана и так далее – вплоть до последних конвульсий горбачевского правления.

Стратегия кремлевских кураторов была четкой: должна быть создана монолитная партийно-государственная идеология, поставившая под неусыпный контроль все формы культуры, вне зависимости от того, в каком виде они существовали до Октября и поныне существуют за кордоном. Самодостаточное ядро такой идеологии составляет диамат в «кратком» сталинском изложении, и задача философов и деятелей культуры заключается в конкретизации его непререкаемых догм применительно к отдельным сферам человеческой деятельности.

Напомню, как яростно выступали номенклатурные идеологи против концепции бессубъектной природы моральных заповедей: они должны формулироваться партией, и в 3-ю Программу КПСС был вставлен «моральный кодекс строителя коммунизма». Та же тенденция проявилась в яростном сопротивлении созданию социологии как автономной науки, независимой от стереотипов истмата. Поэтому мы вправе рассматривать Белецкого и Ойзермана не просто как индивидов, по-разному толкующих метафизические проблемы, но как исторически закономерные персонажи, конфронтация которых была неизбежной.

Признаюсь, что во время бесед с Т.И. Ойзерманом у меня нередко возникала мысль, а не преувеличивает ли он значение фигуры З.Я. Белецкого, придавая ему облик некоей демонической силы, определявшей главные философские баталии того времени. Однако недавно А.Д. Косичев, непосредственный участник событий, о которых у нас шла речь, презентовал мне свою книгу воспоминаний. Естественно, автор оценивает поступки своих коллег с иных позиций, чем Т.И. Ойзерман, а тем более я – тогдашний студент и аспирант. Но он совершил едва ли не научный подвиг, разыскав в архивах многие ключевые документы, которые и служили поводом для постоянных коллизий и взаимных обвинений.

Выясняется любопытная вещь: большинство высокопоставленных деятелей, имевших даже косвенное отношение к философии, было вовлечено в решение коллизий, которые создавал именно З.Я. Белецкий. В книге приводятся его первое послание И.В. Сталину от 27 января 1944 г. и подробный пересказ ответа на это послание Г.Ф. Александрова секретарям ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову и А.С. Щербакову от 29 февраля 1944 г., письма Белецкого Сталину от 18 ноября 1946 г. и 9 апреля 1949 г., его же послания Маленкову от 22 марта и 3 сентября 1949 г., заключение комиссии во главе с А.М. Румянцевым, отчет о шестидневном факультетском собрании (март 1949), на котором кафедру Белецкого обличали в антимарксизме и космополитизме, послание руководства МГУ Маленкову с требованием ускорить отстранение Белецкого от кафедры и преподавания в университете, ответное письмо тому же Маленкову министра высшего образования СССР С.В. Кафтанова, категорически несогласного с таким требованием, письмо отдела науки ЦК ВКП(б) М.А. Сулову о неблагополучии в философской науке от 30 сентября 1949 г., поразительное по своему мракобесию послание Г.М. Маленкову «О мерах ликвидации космополитизма в философии», подписанное Г. Александровым, Д. Чесноковым, Ф. Константиновым с припиской: «Послано товарищу Сталину И.В. 21.3.49», а также многие факты резких выступлений против Белецкого руководящих философских деятелей.

Многие из этих документов составлены в жанре доносов с прямыми обвинениями в утрате политической бдительности и извращении основ марксизма-ленинизма. Не чурались идейные мыслители и кухонной лексики: «чепуха», «абсурдность», «несуразность», «невежественное мнение», «т. Белецкий пошел на жульничество», «это

подлог и обман Белецким товарища Сталина». Впрочем, Белецкий также в карман за словом не лез. В общем, это неисчерпаемый кладезь злонамеренного лукавства, подтасовок и подсиживаний. Может быть, когда-нибудь найдется добровольный разгребатель этой номенклатурной грязи. Меня же поразило другое.

В ЦК поступает очередное послание З.Я. Белецкого, обличающее толкование Г.Ф. Александровым или его последователями идеализма, объективной истины, сути диалектического метода, то есть сугубо профессиональных философских проблем. И высокий получатель (Маленков или Сулов) накладывает одну и ту же резолюцию: «1) Ознакомить секретарей ЦК. 2) Рассмотреть на очередном секретариате ЦК». И дальше указывается список секретарей ЦК и высоких государственных деятелей «на ознакомление вкруговую». И рассматривали. Так, по письму Белецкого Сталину (18.10.46) Секретариат ЦК ВКП(б) принял решение «в связи с серьезными ошибками провести обсуждение книги Александрова».

Только что кончилась война. Страна лежала в руинах. Неужели не было более важных проблем, чем ломать голову над тем, как понимать объективную истину? Да и чем номенклатурные мыслители, в метафизике заведомо серые, могли обогатить философию?

Но в свете всей этой суеты яснее вырисовывается угрожающая и по-своему трагическая фигура Белецкого. Еще вчера мало кому известный, заштатный профессор точнее всех кремлевских мыслителей несколько раз угадывает потаенные симпатии и глубину мысли земного бога. Значит, наступил его звездный час. Но ампула новатора в сакральной системе, каковой был диамат, весьма опасно. Дело в том, что в советской философии закрепилось хотя и догматическое, но по-своему цельное понимание источников и составных частей марксизма. И изменение одного блока требовало перетолкования других, что могло выглядеть как ревизия постулатов, которые почитались как фундаментальные.

Не могу точно судить о причинах, но Белецкий решительно вступил на этот путь и тем самым оказался в двусмысленной ситуации. Его яростная защита официального догматизма сопровождалась покушением на его же краеугольные устои, что, в конце концов, оттолкнуло от него многочисленных казенных идеологов и политических деятелей, которые прикидывались философами. Тем более, что он бросал открытый вызов сложившейся группе государственных любимцев, которые (и в этом он был прав) «не знают никаких наук» и рассматривают область философии как свою «частную собственность».

Отсюда и вся запутанность отношения к его непредсказуемому теоретическому своеволию. С одной стороны, оно в штыки принималось неисправимыми и малограмотными догматиками, в принципе отвергавшими свободу мысли, с другой – его идеи так или иначе могли разделяться творчески мыслящими специалистами, например, «гносеологами». Так что, полагаю, Теодор Ильич верно охарактеризовал и феномен Белецкого, и причины их взаимной вражды.

Вообще-то деятельность Белецкого и Ойзермана разворачивалась на разных энергетических орбитах, и в нормальной обстановке говорить и спорить друг с другом им было бы не о чем. Но молодой доцент стал символом, а позже и организатором того самого «чужого» и по своей типологии неподвластного цензуре философского знания, которое неизбежно подрывало монополию диамата. Он слишком часто читал сомнительные, непроверенные книги, знал слишком много терминов и идей, о которых мыслители типа Митина и Белецкого не только не имели никакого представления, но которые не могли и не хотели понимать.

Впрочем, не хочу выглядеть чересчур глубокомысленным. Надеюсь, что содержание самой беседы, общие рассуждения и совсем мелкие детали однозначно подтверждают эту мысль. Т.И. Ойзерман прав: к разработке порученного ему курса истории марксистской философии он подошел не как диаматчик, а как нормальный историк философии, рассматривая ее как органическую часть философского знания,

пытаясь объяснить ее становление в соответствии с теми принципами и навыками, которые приобрел заранее.

Следует только оговориться, что сам по себе факт включения в программы новых историко-философских дисциплин догматизму еще не грозил. Все решал уровень, на котором эти дисциплины преподавались. Напомню, что Жданов критиковал (и в данном случае справедливо) Александрова за то, что тот историю философии свел к Западной Европе, забыв, к примеру, о русской философии. Такая кафедра была спешно организована и развила бурную деятельность, тем более, что подоспело время борьбы против космополитизма. И каков результат? Лекции Щипанова и его коллег поражали нас, студентов, поверхностностью и косноязычием. Вместе с тем свою профессиональную беспомощность они компенсировали бурной активностью в организации погромных кампаний по защите принципа партийности, борьбе с космополитизмом, воспитанию красного патриотизма, одним словом, «служению».

Исходная установка секрета не составляла: русская философия – это эмбриональная стадия идей сталинского диамата. Поэтому она всячески противопоставлялась западной мысли, полностью игнорировалась религиозно-идеалистическая линия, выхолащивались идейные искания Белинского, драма Чаадаева и Герцена, не говоря уже о злобном обличительстве выдающихся мыслителей «серебряного века».

Были и порядочные, знающие преподаватели (З.В. Смирнова, Г.А. Арефьева, В.М. Бурлак), но под разными предлогами их старалось выжить или дискредитировать. Одним словом, кафедра прививала не любовь и уважение к русской философии, а фактически дискредитировала и оглупляла ее. В результате событие, беспрецедентное и позорное для знаменитого университета. Группа студентов (Е.Г. Плимак, Ю.Ф. Карякин, Л.А. Филиппов, И.К. Пантин) устроила настоящий бунт против примитивизма и искажений в освещении истории русской философии.

И все же авторитета и влияния Т.И. Ойзермана как заслуженного фронтовика, талантливого исследователя западноевропейской, прежде всего немецкой классической философии было бы явно недостаточно для того, чтобы противостоять влиянию огнеупорных талмудистов. Здесь судьба проявила изощренную хитрость: молодой доцент довольно рано завоевал и с годами укреплял репутацию ведущего знатока деталей и тонкостей становления учения Маркса и Энгельса, причем во всем контексте развития мировой общественно-теоретической мысли, и неустанно публиковал результаты своей работы. Иными словами, предмет и логика его исследований совпадали с тем, что (пусть лишь на словах) официально признавалось «Осударевой» дорогой победоносной партийной науки, и не считаться с этим даже номенклатурная камарилья не могла. Так что на него открытые фронтальные атаки исключались, приходилось искать окольные пути, довольствоваться мелкими уколами и демагогическими выпадами, не всегда эффективными.

Теодор Ильич, наверное, порой упрекает себя за нерешительность в отстаивании собственных взглядов, за неоднократные попытки переубедить догматиков, ссылаясь на тексты классиков, хотя бесперспективность этой затеи была ясна заранее, за нередкие компромиссы. Бог ему судья. Я-то не думаю, что для этого имеются серьезные основания: он виртуозно прошел тот путь, который был ему (и только ему) предназначен свыше. А путь замысловатый: все время идти по тонкому прогибающемуся льду и как минимум не провалиться, а главное – оставаться на свободе. Для этого он и был награжден богатым арсеналом: природным талантом, нечеловеческой работоспособностью, неистовой страстью к сочинительству, и наивной, почти ребячьей верой в то, что все как-нибудь образуется, а если уж станет совсем плохо, то спасет обыкновенное чудо.

Все так и происходило, что выяснилось уже в школьные годы. «Незадолго до окончания школы, – вспоминал Теодор Ильич, – со мной случился казус. В те годы все только и говорили о Днепрогэсе. И вот я с несколькими товарищами решил пойти и посмотреть на это чудо света (он был примерно в 90 км от нас). Шли больше

суток. В школе это вызвало настоящий переполох. Нас стали таскать по начальству. Я был лучшим учеником школы. Успеваемость у меня оценивалась в 98 %, тогда как уже 90 % приравнялись к отличной. Разумеется, прямо приписать нам какие-то диверсионные намерения было невозможно, но из пионеров меня на всякий случай исключили. А в те годы всем выпускникам выдавалась характеристика, в которую обязательно включалась оценка отношения к советской власти: «хорошо», «безразлично», «враждебно». Мне написали последнюю. Но, к счастью, органы такой аттестацией не заинтересовались. У них были свои источники информации и там знали, что я постоянно писал в школьную стенгазету, даже в областную газету «Будущая смена».

А эпизод с Бродовым? На минуту представьте себе, что стало бы с Ойзерманом, если бы на месте вменяемого кагебешника, который разбирал это дело, сидел бы полуграмотный фанатик или даже компетентный товарищ, у которого горел план своевременной посадки? И уж совсем страшно подумать, как развернулись бы события, если бы на письме Белецкого о защите Ойзерманом докторской диссертации вождь начертал бы обычное: «разобраться».

Мне могут возразить, что наш герой не был совсем уж пассивным, он добивался справедливости, никого не подсиживал, доносов не писал, нередко шел на компромиссы. Конечно, скажем, предложение о письме ректора МГУ с предложением Т.И. Ойзерману вернуться на философский факультет, набег на дачу Г.Ф. Александра, идея сугубо предварительного отзыва сказавшегося большим академиком и даже своевременная реплика в связи с переходом на кафедру В.Ф. Асмуса – это неповторимые шедевры житейской смекалки, доступные лишь бывалому советскому человеку.

А к чему он затеял шумиху по поводу идеализма и агностицизма в самой АОН при ЦК КПСС, где (он это знал наверняка) никому до таких тонкостей дела не было? И уж с обликом конформиста совсем не вяжется резкое выступление против Б.С. Украинцева с предложением лишить его директорства. Причем на директивном совещании в ЦК под председательством самого заведующего отделом науки С.П. Трапезникова, который его и назначал! Я неплохо знал этого всемогущего царедворца: привычкой подставлять другую щеку он не грешил. Речь, правда, шла о защите В.Ж. Келле, одного из порядочных и честнейших коллег, и это было по совести. Но выступил только кроткий Ойзерман. А почему? Наверное потому, что чувствовал свою правоту и верил в поддержку, как он любил говорить, «порядочных и справедливых людей».

И здесь открывается еще одна особенность жизненного пути нашего юбиляра. Можно заметить, что в критические для него минуты действительно находились люди, спешившие его поддержать. Среди них было немало коллег, связанных с ним давними дружескими чувствами. Но нередко (некоторые случаи мною упоминались выше) к нему обращались как к признанному надежному профессионалу. Редакторы журналов – чтобы обеспечить качественное редактирование статей, особенно если речь шла об исходной «муре» номенклатурных авторов, желавших выглядеть мыслителями, озабоченными метафизическими сюжетами, заведующие отделами журналов – чтобы обеспечить доходчивые разъяснения не всегда осмысленных философских положений, директора институтов – чтобы обеспечить высокое качество курсов по философии. По той же причине Т.И. Ойзерману часто поручали ответственные доклады на всемирных философских конгрессах. Такого отношения можно было добиться только лихорадочным, самозабвенным трудом.

Одним словом, Т.И. Ойзерман безошибочно прошел по отведенной ему трассе жизни – так опытный фигурист проходит «школу». А если бы он увлекся своевольным «произвольным катанием», то система наверняка сломала бы его, и отечественная философия заметно приблизилась бы к инструкции с разделами, ненавязчиво смахивающими на статьи уголовного кодекса. Поэтому не будем стесняться слов благодарности Т.И. Ойзерману за то, что он, в силу то ли своей неистребимой опти-

мистической наивности, то ли в силу законов высшего разума оказался в нужном месте в нужный час именно таким, каким мы его знаем и любим.

В заключение поддамся искушению еще раз мысленно представить себе картину 50-летней давности, когда мы, вчерашние школьники, спешили в Круглый зал философского факультета на лекции молодого доцента Т.И. Ойзермана. Это было прекрасное и яростное время, поэтому еще раз поблагодарим тех преподавателей, которые сумели привить студентам навыки творческого мышления; не случайно выпускники тех лет занимают ведущее положение в нашей философии. Вспомним лекции П.С. Попова, А.Н. Леонтьева, О.В. Трахтенберга, С.А. Яновской, В.Ж. Келле, спецкурс В.Ф. Асмуса, семинары М.Я. Ковальсона, П.Я. Гальперина. И все же наиболее яркое впечатление оставили лекции Т.И. Ойзермана по истории марксистской философии.

Вероятно, такая оценка выглядит неожиданной: сегодня считается, что именно марксизм составлял оплот догматизма и умственной окостенелости. Однако сказывалась не только тема. В самой манере, ритмике, акцентах лекций Т.И. Ойзермана чувствовалось особое теоретическое обаяние, некий педагогический подтекст, второй план, который привлекал наше внимание гораздо больше, чем отдельные факты и детали. Т.И. Ойзерман не ограничивался пересказом и даже комментированием отдельных работ Маркса и Энгельса, а стремился выявить содержательную логику развития их взглядов, сделать наглядными побудительные мотивы, сомнения, которые лежали в основе этого процесса. И здесь перед ним открывались самые широкие возможности.

Марксизм явился результатом длительного процесса радикальных изменений во взглядах самих его создателей, итогом напряженной научно-критической деятельности, безжалостной переработки, переплавки прежних доктрин. У Маркса и Энгельса постоянно сохранялось чувство внутренней неудовлетворенности, без которого поиски новых решений были бы невозможны. Вспомните работы того периода: яркие, афористические высказывания, подлинный фейерверк блестящих образов и метафор, свидетельствующих о творческой увлеченности, готовности все подвергать сомнению. На наших глазах совершалась не смена сухих теорий, а движение самосознания выдающихся и полных страсти умов, и эта энергетика мысли заряжала слушателей и действовала уже в тех конкретных исследованиях, которые каждый для себя избирал.

И, конечно, мастерство самого лектора. Т.И. Ойзерман – натура художественная, он умел так срежиссировать свои выступления, что мы слушали его как зачарованные. Не случаен тот факт, что Ильенков подарил Ойзерману свою книгу с надписью «Теодору Ильичу, научившему меня читать Маркса», а многие философы, которых мы почитаем как лучших – Э.В. Ильенков, А.А. Зиновьев, М.К. Мамардашвили, Б.А. Грушин Г.С. Батищев, Ф.Т. Михайлов и др. – свои дипломы и диссертации посвятили анализу воззрений Маркса, прежде всего, логики «Капитала».

И сегодня, когда академику Теодору Ильичу Ойзерману исполнилось 90 лет, я хотел бы выразить искреннее восхищение поразительным трудолюбием, юношеской страстностью и чувством профессиональной ответственности нестареющего ученого.